

[Polaris]

Клод Фаррер



Дом
Людей
Живых

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

LXXXVI



Salamandra P.V.V.

**Клод
ФАРРЕР**

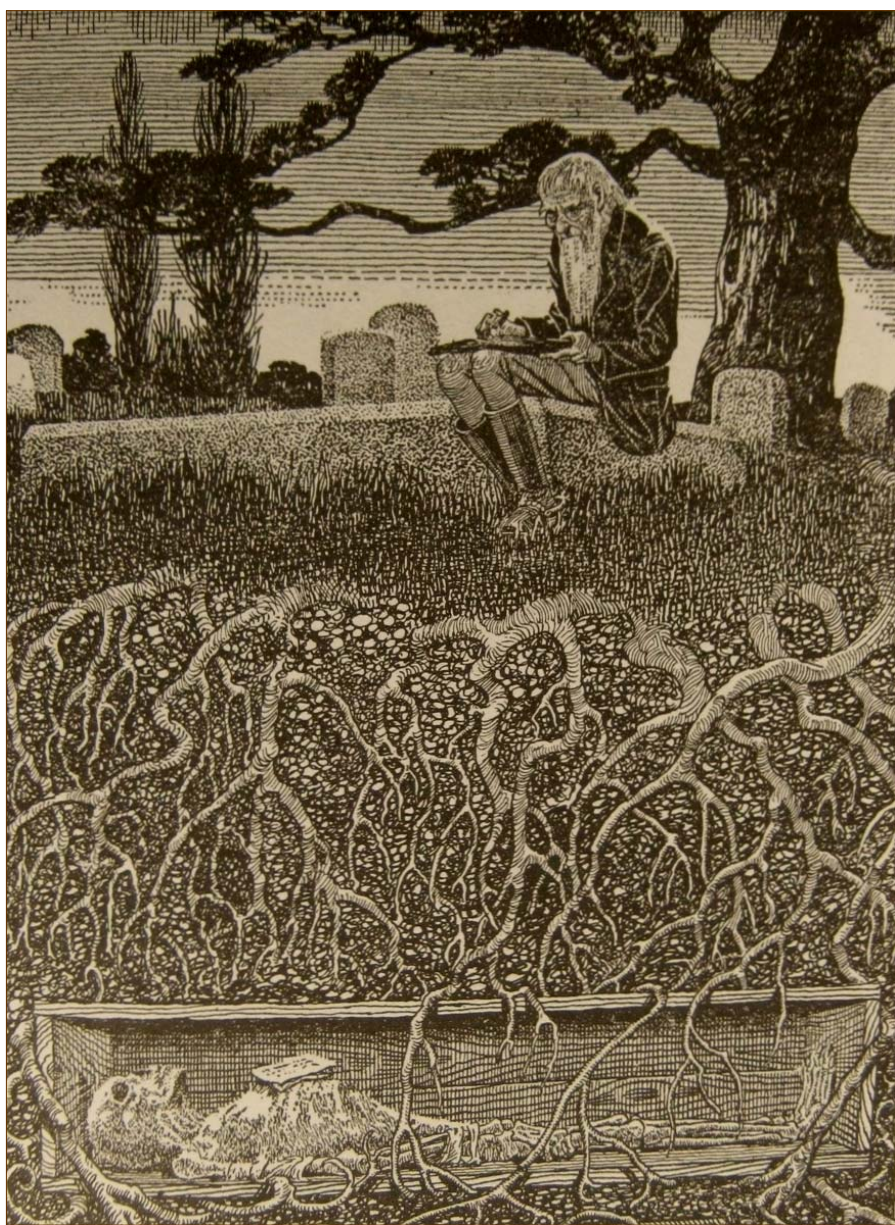
**ДОМ ЛЮДЕЙ
ЖИВЫХ**

Salamandra P.V.V.

Фаррер К.

Дом Людей Живых. Пер. и предисл. Г. Павлова. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2015. — 130 с. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. LXXXVI).

Герою фантастического романа французского писателя Клода Фаррера (1876-1957) предстоит пережить роковое приключение в затерянном доме, где обитают зловещие «Люди Живые», и... побывать на собственных похоронах.



Клод Фаррер

ДОМ ЛЮДЕЙ ЖИВЫХ

Предисловие

Мировая литература знает целый ряд произведений, изображающих в художественной форме сумерки человеческого духа. Гамлет, король Лир, Поприщин, Андреевский, доктор Керженцев — все это типы безумцев, изображенные с большей или меньшей патологической верностью. Обычно такие типы выводятся автором в окружении нормальных людей, которые своей нормальностью оттеняют их безумие, не оставляя сомнения в его факте. Но бывают случаи, когда автор ведет рассказ от лица безумного, окрашивая весь окружающий мир в те тона, в каких он рисуется помраченному разуму героя. Самым ярким из произведений этого рода является знаменитый рассказ Эдгара По «Колодец и маятник».

Именно к числу таких произведений относится и предлагаемый читателям роман Фаррера «Дом Людей Живых».

Автор нигде не говорит прямо о безумии своего героя. Но сама по себе история человека, присутствующего на своих собственных похоронах, настолько невероятна, что никто и не подумает принимать ее всерьез: в наше время даже для сказок существует известный минимум правдоподобия. Душевный недуг Андре Нарси выдают не прямые указания автора, а тонко схваченные патологические черты: например, то, что, «забывая» самые простые вещи, несчастный вспоминает тем не менее слово в слово длиннейшие и запутанные монологи или заявляет о том, что он не безумец, заявляет с настойчивостью, которая у психиатров считается очень характерным симптомом.

Можно задать вопрос: чего ради автору вздумалось делать героем своего романа безумца? Скорее всего потому, что такой литературный прием широко раздвигает почтенные, но слишком узкие рамки того, что бывает в повседневной действительности. В этом романе автора заинтересовала проблема, ставшая особенно актуальной в наши дни: проблема долголетия, продления слишком короткой жизни человека. В 1911 году, когда был написан роман, проблема эта, в настоящее время близкая к научному разрешению, могла еще ставиться только в плане фантастики. Раз это так, избранный Фаррером прием является литературно вполне оправданным.

Возможно и еще объяснение: Фарреру, писателю, влюбленному в XVIII век, могла передаться заманчивая мечта: на миг сделать это далекое прошлое настоящим, перенести живой кусок его в современную действительность. И это ему удалось в значительной степени. В Доме Людей Живых, таинственном старом замке, затерянном в глубине Прованса, в почерневших дубовых

панелях, железном канделябре из копий, — наконец, в самих Живых Людях, изысканно учтивых чудовищах эгоизма и жестокости, перед нами встает не тот XVIII век, каким мы его знаем по истертым клише напудренных париков, фижм, пастухов и пастушек, но другой: мрачный, таинственный, часто злодейский, каким он и был на самом деле. Особенно интересна в этом отношении вся псевдонаучная подкладка романа: дикое суеверие, облеченное в форму фантастических научных гипотез и опытов, как нельзя более характерно для века, в котором наряду с Лавуазье и Вольтером развивали свою «научную» деятельность такие шарлатаны, как Сен-Жермен и Калиостро.

В художественных достоинствах этого романа, написанного с максимальной экономией изобразительных средств и все же достигающего местами потрясающих драматических эффектов, лежит оправдание выхода его в свет в настоящее время. Но, независимо от этого, читатель невольно задумается, закрывая книгу Фаррера, над тем, с какой быстротой подвигается вперед наука на своем великом пути к разрешению проблемы долголетия: ведь еще и двадцать лет не отделяют наших дней Штейнаха и Воронова от той поры, когда писатель, обращавшийся к научным данным о долголетию, не находил ничего лучшего, как стряхнуть, хотя бы в фантастической форме, вековую пыль с сумбурных учений средневековых алхимиков и их мрачного эпигона «отца Аймара»...

Г. Павлов

Моим друзьям Жерар д'Увиллю и Анри де Ренье посвящаю эту книжку, скромный знак моего восхищения, уважения и горячей признательности.

К. Ф.

I

Сегодня, 20 января 1909 года, я решаюсь, не без волнения и боязни, написать точный рассказ о событии. Я решаюсь на это потому, что послезавтра умру. Послезавтра. Да. Наверное, послезавтра. Умру от старости. Я чувствую это. Я это знаю. Я немногим рискую, нарушая молчание. И, поистине, я считаю, что должен его нарушить ради покоя, мира и безопасности всех мужчин и всех женщин, которые не знают и которым угрожает опасность. Сам я больше не в счет. Послезавтра я умру. В сущности, это мое завещание — мое собственноручное завещание.

Я завещаю всем мужчинам и всем женщинам, которые были моими братьями и сестрами, раскрытую Тайну. Пусть моя старость и моя смерть послужат им предостережением. Такова моя последняя воля.

Прежде всего, пусть знают все: я не сумасшедший. Я совершенно здоров духом и даже телом, потому что не страдаю никакой болезнью, я только стар, стар выше всех человеческих пределов. Сколько мне лет? Восемьдесят? Сто? Сто двадцать? Не знаю. Не существует ничего, что могло бы установить мой возраст — ни актов гражданского состояния или иных, ни воспоминаний, ни свидетельств какого бы то ни было рода. Я даже не могу определить мой возраст по моим ощущениям старика. Ибо я стар очень немного дней. У меня даже не было времени освоиться с этой внезапною переменной. И немыслимо никакое сравнение

между моей вековой старостью и другой старостью, менее дряхлой, которой я не знал раньше. Тем, что я теперь, я сделался сразу...

Я чувствую холод внутри тела и в моей крови, в самом мозге моих костей. Я устал, устал смертельно, устал усталостью, которую никакой отдых не облегчит никогда. Все мои члены одеревенели, и все суставы болят. Мои зубы, беспрерывно стучащие, распатаны до того, что непригодны более для жеванья. Тело мое неодолимо гнется и клонится к земле. И каждое из этих болезненных ощущений для меня остро, потому что является новым. Наверное, нет больше такого несчастного существа, как я...

Но это всего только на два дня, едва на два дня. Сорок восемь часов, две тысячи восемьсот восемьдесят минут — пустяки! Я высчитал это короткое время, и сердце мое бьется надеждой... да, надеждой, хотя смерть ужасная вещь, — более ужасная, разумеется, чем люди себе представляют. Я знаю это, я один! Но все равно. Моя жизнь, поистине, уже не жизнь больше...

Нет, я не сумасшедший. Мой рассудок ясен и, кроме того, я умираю. Две причины, по которым я не лгу; две причины, по которым не может быть сомнений в моей правдивости. О! Ради вашего Бога, если он у вас есть, не сомневайтесь в моих словах, вы, которые найдете эту тетрадь и прочтете рассказ Событий. Дело идет не о сказках, не о выдумках. Дело идет о самой ужасной опасности, когда-либо тяготевшей над вами, над вашим сыном или дочерью, над вашей женою или любовницей. Не выказывайте пренебрежения, не пожимайте плечами. Я не сумасшедший, и смерть витает над вашей головой. Не смейтесь! Прочтите, поймите, поверьте — и потом поступайте так, как вы найдете нужным.

Простите, если моя старая рука дрожит. Не бросайте написанных мною строк, почти невидимых. Я нашел этот карандаш в пыли на дороге; он источен и слишком короток для того, чтобы мои затверделые пальцы могли

удобно держать его. Эта тетрадь — похоронный реестр — так же неудобна для писанья. Ее страницы обрамлены широкой черной каймой, и это заставляет писать сжато. Но другой бумаги у меня нет. И, несмотря на неудобство, быть может, лучше, чтобы я писал именно в этой тетради, чем где-либо.

Я пишу. Ради вашего Бога, не сомневайтесь! Прочтите, поймите, поверьте...

II

Началом всего было отношение полковника Терисса, директора сухопутной артиллерии, к вице-адмиралу де Фьерсу, морскому префекту, главнокомандующему вооруженными силами и губернатору Тулона. Отношение это поступило в канцелярию главного штаба с вечерней почтой. Это было в понедельник, 21 декабря 1908 года. Да, двадцать первого минувшего декабря... С тех пор не прошло еще месяца... месяц исполнится завтра, день в день. А! Боги неба и ада!

Итак, отношение полковника-директора было получено с вечернею почтой в канцелярии главного штаба, главного штаба военного губернатора, само собой, а не морского префекта. В Тулоне, как и в других четырех портах, вице-адмирал аншеф — одновременно морской префект и губернатор. Он помещается в здании префектуры, представляя своему генерал-адъютанту здание губернаторства. Таким образом, сношения штаба с другими местами происходят по телефону. Разумеется, это специальный провод, потому что иногда бывает необходима тайна.

Я был в штабной канцелярии, когда получил отношение. Я его вскрыл, разбирая почту. В то время моей обязанностью было вскрывать почту военного губернатора: я был кавалерийский офицер, патентованный капитан главного... И я был молод: мне исполнилось тридцать три года. С тех пор не прошло еще месяца, одного месяца...

Я вскрыл отношение и прочел его. Оно мне показалось не представляющим никакого интереса... Вот оно, с начала до конца. В эту минуту я вижу его текст перед глазами, буквально перед глазами...

XV армейский корпус,

Тулонская крепость

№ 287

Предмет: поломка телеграфных столбов.

«Тулон, 21 Декабря 1908. Полковник Терисс, директор сухопутной артиллерии, г-ну вице-адмиралу аншефу, морскому префекту, командующему вооруженными силами и губернатору.

Имею честь уведомить вас, что 19 декабря телеграфные столбы №№ 171, 172, 173, 174 и 175 были сломаны обвалом, и что линия Турри — Большой Мыс является таким образом прерванной.

Я отдал надлежащие распоряжения к восстановлению этой линии. Ввиду, однако, плохого состояния дорог и довольно большого расстояния, которое придется пройти рабочим, необходимо считать, что исправление будет закончено не ранее как через сорок восемь часов. До тех пор все сношения по электрическим проводам между Большим Мысом и Тулоном являются по необходимости прерванными.

Полковник-директор Терисс».

Всем известно, что в мирное время Тулону и Большому Мысу не о чем переговариваться друг с другом, за исключением дней, когда бывает тревога. Большой Мыс — одна из гор, окружающих Тулон. Его голая, дикая вершина увенчана довольно сильным фортом. Обычно лишь один караульный при батарее живет в этом форте, который войска занимают только в случае мобилизации. Вокруг простирается равнина, изрезанная горами и почти пустынная. Изредка дровосеки кочуют по ней здесь и там, никогда не устраиваясь на постоянное жительство. И телеграфная ли-

ния, проходящая по этой пустыне, право, могла бы оставаться поврежденной и долее сорока восьми часов без того, чтобы земля от этого перестала вращаться. Я собирался попросту приобщить отношение директора к моим бумагам, когда капрал-телеграфист постучался в дверь канцелярии.

— Господин капитан, вас просят к телефону из морской префектуры.

— Иду.

Поднимаясь с кресла, я взглянул на каминные часы. Было ровно три. Я вышел из комнаты и пересек коридор. Телефонная будка находится неподалеку от канцелярии.

Я взял трубку. Тотчас же меня назвал по имени голос, который я узнал не без удивления, голос самого вице-адмирала.

— Алло! Это вы, Нарси?

— Да, я, адмирал.

— Баррас говорит, что у вас есть лошадь в Солье-Понте. Может быть, он ошибается?

— Баррас не ошибается, адмирал. Одна из моих верховых лошадей со вчерашнего вечера находится в Солье-Понте.

— Она в хорошем состоянии? Не утомлена?

— В очень хорошем. Совсем не утомлена. Я хотел завтра воспользоваться ею для рекогносцировки в Фенуйе.

— Прекрасно... Вероятно, завтра вам не придется отправиться в Фенуйе. Сегодня вечером вам предстоит очень неприятная прогулка, и я не вижу, на кого мог бы возложить ее, кроме вас.

— Я к вашим услугам, адмирал.

— Вы знаете, что сообщение между Тулоном и Большим Мысом прервано?

— Я только что получил бумагу об этом от директора артиллерии.

— Это очень некстати. Во что бы то ни стало надо сегодня же вечером предупредить караульного батареи на Большом Мысе об учебной стрельбе семидесятипятимил-

лиметровыми, которая завтра будет проводиться в Рока-Трока.

— Завтра, адмирал?

— Завтра в полдень. Отложить ее нельзя из-за генерала Фельта, вынужденного покинуть Тулон завтра вечером. Вместе с тем, необходимо, чтобы дровосеки на горе были предупреждены о стрельбе, во избежание несчастных случаев. Который теперь час?

— Пять минут четвертого, адмирал.

— Сколько считается отсюда до Солье?

— Семнадцать или восемнадцать километров.

— Хорошо. Телефонуйте вашему вестовому... Ваш вестовой там, я полагаю?

— Да, адмирал.

— Телефонуйте ему, чтоб он оседлал вашу лошадь и дожидался вас где-нибудь на дороге. Вы в форме?

— Нет, адмирал... Начальник главного штаба разрешает нам быть в штатском после полудня. Но я могу сесть в седло, каков есть: на мне краги и шпоры. Я хотел попробовать сейчас новую лошадь полковника Леско.

— Прекрасно. Я сейчас пошлю вам мой автомобиль. Возьмите его и отправляйтесь в Солье. Вы там будете в половине четвертого. Автомобиль, наверно, не пройдет дальше?

— По направлению к Большому Мысу? Нет, конечно. От Солье до Валори дорога едва доступна для маленьких телег...

— Вы хорошо знаете эту дорогу?

— Довольно хорошо. Я по ней делал рекогносцировки во время маневров, в прошлом году. За Валори это только тропинка, очень плохая горная тропинка.

— А сможете вы проехать там верхом?

— В прошлом году я проезжал именно там, адмирал.

— Тогда поезжайте. От Солье-Понте до Большого Мыса вы проедете по крайней мере полтора часа, а вы знаете, что в пять часов уже темно.

— Я ночую на Большом Мысе, конечно?

— Конечно. В форте есть офицерская комната. Караульный как-нибудь устроит вас там, и вы вернетесь завтра ут-

ром. Это неприятное поручение, мой бедный Нарси. Но что делать? Надо предупредить этого караульного. Послать кого-нибудь военной дорогой из Ревеста невозможно. Баррас измерил расстояние по карте: пришлось бы сделать тридцать километров пути. Автомобиль не пройдет; дорога между Рага и Морье вся усыпана мелким камнем. Единственный выход: всадник, который может отправиться из Солье и который знает тропинки в горах, — то есть вы.

— Я, адмирал. Автомобиль уже здесь, я слышу, как он шумит на улице.

— Телефонируйте вашему вестовому и поезжайте.

— Капрал телефонирует вместо меня, адмирал. Я еду.

— Счастливого пути, дорогой! До завтра...

Я повесил трубку. Услужливый телеграфист уже держал мой непромокаемый плащ и фетровую шляпу. Моросил дождь.

Я вернулся в канцелярию, чтобы запереть секретные шкафы. Я спустил железные створки и замкнул буквенные замки. Третий замок задержал меня на добрых полминуты: комбинация плохо действовала. Я выругался раза два, прежде чем довел до конца дело...

В закрытые окна, сквозь кружевные занавески, смотрел день, еще светлый, хотя и пасмурный. Маленькая топившаяся печка примешивала к нему свой теплый красный свет. Канцелярия показалась мне уютной в эту минуту, когда я покидал ее, чтобы выйти туда, на холодную сырость...

На дворе лошади генерал-адъютанта били копытами об землю. Конюх чистил их скребницей. Чтобы отдать мне честь, он выплюнул свой окурок папиросы. На темной земле там и сям стояли лужи. С блестящего эвкалипта сбегала дождевая вода. Открывая дверь, я задел колокольчик гауптвахты, который зазвонил. Собака сторожа, спавшая под навесом, подняла голову и принялась лаять...

Я перешагнул через порог и сел в автомобиль, ожидавший у тротуара, шумя во всю силу своего мотора.

III

Я вспоминаю, что на углу Ревельской улицы и площади Свободы мы едва не раздавили ребенка, игравшего на краю тротуара.

На Страсбургском бульваре пришлось двигаться медленно вследствие скопления экипажей. Под сводами ворот Нотр-Дам какая-то телега заставила нас остановиться.

Потом началось предместье Сен-Жан дю Вар, бесконечное между двумя рядами своих узких домов, стиснутых друг против друга. По временам мимо нас пробегал трамвай. Под железнодорожным мостом рабочие, застигнутые врасплох, накинулись с бранью на шофера. Проходил поезд, свисток которого заглушил их голоса...

Дождь перестал. Но мостовая оставалась мокрой. Серое небо нависло над кровлями из темной черепицы. Ни один луч солнца не оживлял пейзажа, унылого вообще, который под этим тусклым небом казался одетым в траур.

Последние дома предместья остались позади. Дорога, прямая и грязная, вела в открытое поле. Слева поднимались первые уступы Форона. Я наклонился к дверце, чтобы взглянуть на вершину горы: ее окутывала чалма облаков, и я подумал, что, наверно, такие же облака скрывают еще более высокую вершину Большого Мыса, и что, быть может, мне трудно будет найти дорогу в запутанном лабиринте горных тропинок... Да, я подумал об этом... но только на одно мгновение...

Автомобиль достиг деревни де ла Валетт, первой, которую проезжают по пути из Тулона в Ниццу. Ребятишки бежали справа и слева, крича, как зарезанные. Я посмотрел на часы. Половины четвертого еще не было. Тем не менее я спустил переднее стекло и коснулся плеча шофера.

— Во весь опор, не правда ли, как только выберемся отсюда?

— Да, капитан.

Автомобиль полным ходом помчался по прямой и гладкой дороге. Справа поднимался поселок ла Гард, взбирающийся

ся на холм и увенчанный развалинами укрепленного замка. По невольной ассоциации мыслей я вспомнил при виде этого замка лицо женщины, игравшей большую роль в моей жизни... женщины, которую я впервые встретил год назад в этих развалинах... И я думал теперь только об этой встрече и об этом лице... Старые стены с зубцами резко вырисовывались на туманном небе. У их подножия расстилалась голая равнина, местами покрытая, как проказой, низкими серыми оливками... Мне вспомнилась эспланада, которую я миновал, идя наудачу, и башня, за которой я увидел грациозный образ — образ незнакомки, отдыхавшей на ступенях перрона, что ведет к подземному ходу из замка... При звуке моих шагов она обернулась, и я был ослеплен ее волосами цвета чистого золота и взглядом ее глаз, похожих на изумруды...

Мадлена... Мадлена де***

Нужно было бы написать здесь ее фамилию. Все это теперь так далеко от меня, так бесконечно далеко!.. Но, вместе с тем, далеко только от меня одного. И я не могу написать здесь фамилию женщины, которая была моей возлюбленной и которая ни мертва, ни стара... Даже и это уж было бы слишком: произнести эти три слога — «Мадлена» — если б имя, которое они образуют, не было распространенным до того, что инкогнито никаких женщин не пострадает; даже тех, которых зовут Мадлена, даже блондинок с зелеными глазами...

Продолжая свой путь, автомобиль миновал деревню де ла Фарлед так быстро, что я не заметил этого. Первые дома Солье показались впереди...

Когда мы достигли их, было без двадцати четыре. На дороге, на первом перекрестке — на перекрестке путей от Солье к Эгюйер и от Эгюйер к Большому Мысу — мой вестовой дожидался, держа лошадь под уздцы. Шофер остановил машину так резко, что я едва не соскользнул с сиденья.

Спустя минуту я был в седле. Кумушки, стоя у своих дверей, обсуждали мое прибытие и мой отъезд, слишком

внезапный с их точки зрения. Одна из них произнесла звучным провансальским говором:

— Недостает только солнца, чтоб господин выглядел совсем франтом на своей лошади.

Эта фраза была последней, которую я услышал в тот день, — в тот день, ставший для меня последним...

IV

Я выехал на дорогу в Эгюйер. Грунт был хорош: ни слишком скользкий, ни чересчур твердый. Моя лошадь прекрасно шла по нему крупной рысью.

Я любил эту чудесную лошадь — рыжей масти, высокую, с длинной шеей, чистых кровей, очень храбрую и умную. Я имел возможность выбрать ее по своему вкусу два года назад, во время прохождения своего стажа в министерском кабинете. Там имеются возможности, которых не знают строевые офицеры... Моя лошадь называлась Зигфрид. Мы успели привыкнуть друг к другу, и я не знал за ней никакого порока или даже недостатка, о котором стоило бы говорить.

Одним духом Зигфрид примчал меня в Эгюйер, поселок, прилепившийся к последним уступам горной цепи Мура. Отсюда дорога становилась менее удобной. Она бежала по склону холма, господствующего над оврагом, в котором сжата долина Гапо. Резкие зигзаги сопровождали излучины потока, в ясных водах которого отражались облака свинцового цвета. Капли дождя снова начали падать, рисуя круги на этой блестящей воде. Я попробовал пустить лошадь галопом. Справа колокольня Солье-Тука поднималась над рощей вишневых деревьев. Потом дорога, превратившись в тропинку, свернула налево, и я видел только пустынное поле, над которым низкое небо плакало мелкими слезами.

Довольно крутой подъем заставил меня умерить аллюр. Шагом я миновал рог порога и спустился опять по косо-

ру, который был внутренним склоном гигантского цирка Валори, — наполовину засыпанного кратера шириною в доброе полулье. Тогда передо мною открылся Большой Мыс. Цепь Мура скрывала его от меня до сих пор. Он обрисовался сразу, господствуя над всеми массивами кругом. Не было видно ни одной из его вершин, затерянных под сводом облаков. Усеченный таким образом, он походил на какой-то странный столб, поддерживавший всю эту облачную архитектуру, которая тяготела на нем. Ключья тумана скользили по его склонам и спускались почти до той линии, которая отделяет первые пустынные склоны от последних участков возделанной земли... Во второй раз у меня явилась мысль, что будет тяжело, опасно, быть может, двигаться ощупью вперед, в этом непроницаемом липком тумане, по едва намеченной тропе... Но в это мгновение стало светло, и дно цирка образовало широкую выровненную дорогу. Я пустил мою лошадь резвым галопом... Мадлена много раз сопровождала меня в моих верховых экскурсиях. Мы выезжали до восхода солнца, чтобы избежать любопытства недоброжелателей, подсматривавших за нами. Под соснами, которые украшают так пышно два полуострова, Сепет и Сисье, мы скакали вдвоем, полной грудью вдыхая ароматный и теплый ветер... На этом воспоминании моя мысль прервалась, потому что как раз в тот момент я вдохнул предвечерний воздух, и он проник в мои легкие — холодный, влажный, с каким-то странным запахом гнилых листьев и заплесневелой земли. Я поднялся на стременах, чтобы вздохнуть глубже и лучше почувствовать странный запах. Тот же воздух снова проник в мою грудь и мне показалось, что он был дыханием самой горы, дыханием приторным, тошнотворным — трупным... неприятная дрожь пробежала по моим плечам. Зигфрид продолжал скакать галопом. Я опять перевел его на рысь. Цирк был теперь пройден, и тропинка снова поднималась вверх. Четыре лачуги, теснясь смутною грудой, лепились на пригорке. Я миновал их, не заметив живой души. Только собака вышла из полуоткрытой двери и стала обнюхивать следы моей лошади, не лаяя...

Дальше тропа разветвлялась. Я остановился, чтобы развернуть карту главного штаба. Я осмотрелся кругом. Прямо передо мною Большой Мыс заступал горизонт чудовищным хаосом крутых утесов. Первые уступы его отстояли от меня не дальше, чем на полулье. Это был запад; север я имел по правую руку. Я изучал карту. Она была запутанной и неясной. Я все же нашел на ней мой перекресток и две дороги, между которыми я колебался в выборе. Мне казалось, что та, и другая ведут к форту: правая через древний монастырь св. Губерта и поселок Морьер ла Турн, левая через поселок Морьер ле Винь и деревню Морьер. Я выбрал левую дорогу. Без сомнения, Событие не случилось бы, если б мой выбор пал на правую...

Когда я снова двинулся в путь, мне показалось, что я вижу в гуще облаков, нагроможденных на горе, нечто вроде розового отблеска, едва заметного. Я говорил уже, что двигался к западу. Этот отблеск, должно быть, был лучом заходящего солнца, едва пронизывающего туман и изморось. Вечер должен был наступить сразу. Инстинктивно я обернулся в седле к востоку, чтобы увидеть, насколько быстро приближалась ночь. И мной овладело беспокойство при мысли о расстоянии, еще большем, которое отделяло меня от цели... Ибо ночь была уже здесь, более близкая, чем я думал. Она быстро вырастала в восточном конце равнины; она перешагнула высоты Солье, она бежала от одного края цирка Валори к другому, молча следуя по пятам за мной. И вот она догнала меня, оставила позади, опередила на опасных склонах горы. И тропинка была уже только следом, на котором порою скользили копыта моей лошади...

Тогда я понял, что моя миссия грозила навлечь на меня неприятности худшие, чем затянувшееся скитанье по горам в холодный и дождливый вечер.

На самой северной вершине цепи Мура я попал не на ту дорогу.

Ночь еще не наступила, но был уже больше не день. Тропа совершенно исчезла под густой порослью, такой же, как та, что покрывает ковром равнину вокруг. Моя лошадь пробиралась по ней с грехом пополам, порою ощупывая землю копытом, прежде чем ступить на нее. Я полагался на инстинкт животного, не будучи в состоянии различить сам, где была тропа и где равнина. Я упустил из виду, что именно на этой, самой северной вершине цепи Мура, дорога в Турри отходит от дороги к Большому Мысу — отходит влево, к ущелью, известному в тулонских летописях и носящему странное название — Мор де Готье*.

Моя лошадь вступила на эту дорогу в Турри. И я этого не заметил, не подозревая даже, что мы миновали перекресток.

Тропинка, сносная до сих пор, теперь стала скверной. Сумрак сгущался. За последними уступами цирка начинались скалистые крутизны. Почва была неровная, усыпанная камнями и изрытая ямами. Поросль покрывала одни и маскирована другие, Зигфрид споткнулся несколько раз. Между тем, длинные космы облаков образовали над моей головою непроницаемый навес, и навес этот снижался по мере того, как приближалась гора. Вскоре меня окутал прозрачный туман, предвестник другого, более густого тумана, нависшего несколькими десятками метров выше.

Я помню, как выругался и сказал:

— Это чисто по-провансальски!

Как раз в этот момент тропа, поднимавшаяся довольно круто, начала снова спускаться вниз, как будто бы для того, чтобы удивить меня: на карте не было ничего подобного. Я хотел снова справиться по ней. Но сумерки уже

* Смерть Готье (*Прим. пер.*).

слишком сгустились для того, чтоб я мог точно сверить отметки на карте и высоты. Я отказался от этой мысли. Впрочем, спуск был коротким. Я очутился в подобии котловины, очень темной; и тропа снова начала подниматься. Я говорю «тропа», но в сущности, тропы больше не было: терновники и мастиковые кусты образовали чашу, и их шипы достигали по грудь моей лошади; я должен был поднимать руки, чтобы предохранить их от укулов. Я буквально не видел больше земли сквозь эти перепутанные кустарники; и Зигфрид, нервный и беспокойный, с видимой неохотой шел вслепую по этой земле, одетой опасным покровом растительности...

Приблизительно на сто метров далее этой темной котловины был новый спуск, потом новый подъем. Тогда я понял, что сбился с верной дороги. Ибо, несомненно, я проезжал ущелье — ущелье с тремя последовательно расположенными перевалами; но никакого ущелья не должно было быть между мною и Большим Мысом. В этом я был совершенно уверен. Тем не менее, я продолжал путь, чтобы достигнуть третьего перевала, откуда я, без сомнения, должен был что-нибудь увидеть.

Я его достиг.

И в самом деле, я увидал. Передо мной опускалась широкая и длинная равнина, опоясанная со всех сторон далекими горами, очертания которых, хотя и неясные в дождливом тумане, все-таки помогли мне ориентироваться. Массивный барьер, поднимавшийся на юге, мог быть только Фараоном, характерный силуэт которого напоминает силуэт гигантской лежащей собаки. Я узнал также Кудон; восточный склон его, обрезанный ровно, как водорез броненосца, казалось рассекал равнину, подобно носу корабля, рассекающему волны океана. Да, я был в самом ущелье Мор де Готье, и мне не оставалось ничего другого, как вернуться возможно скорее к злополучному перекрестку, виновнику моей ошибки, — возможно скорее, потому что нужно было достигнуть его прежде, чем ночь станет слишком темной...

Зигфрид колебался, вынужденный еще раз погрузиться в чащу, колючие ветви которой царапали его ноздри. Я сжал ему ногами бока, давая понять, что топтаться на месте не приходится. Он храбро двинулся вперед и, как только первый спуск был окончен, пустился рысью.

Но это продолжалось недолго.

В тот момент, как тропа снова начала подниматься ко второму перевалу, я почувствовал, что седла подо мной нет. Я упал, и Зигфрид тоже. Мастики встретили меня довольно сурово, но все же лучше, чем встретили бы камни. Я был на ногах менее чем в десять секунд, ушибленный и исцарапанный, но, в конце концов, невредимый. Моя лошадь не поднималась. Я наклонился к ней: передняя левая нога попала в расщелину утеса и так несчастливо, что кость была раздроблена, как стекло. Никогда больше не будет бедный Зигфрид скакать ни галопом, ни рысью; никогда не покинет он этой котловины, на краю которой инстинкт заставил его колебаться. Мы, кавалеристы, любим своих лошадей больше, чем наших друзей и любовниц. Видя, что мой Зигфрид пропал, я едва не расплакался, как двенадцатилетняя девочка. Резким движением я вынул свой пистолет, вложил дуло в ухо несчастного животного и, закрыв глаза, нажал спуск. Огромное распростертое тело едва содрогнулось, прежде чем вытянуться неподвижно под саваном высоких трав. Машинально я сунул пистолет в карман. И, шагая неведомо куда, я взобрался по склону второго перевала, остановился на самой высокой его точке и сел на первый попавшийся камень.

Прошло добрых четверть часа, пока я наконец пришел в себя и стал размышлять о своем положении.

Оно было весьма незавидным. Пешком, сбившись с дороги, я был затерян среди ущелья, самого пустынного в горном Провансе. Ближайшая хижина была на расстоянии одного лье и до форта на Мысе оставалось по крайней мере два. Между тем, я был обязан прибыть туда, как ни трудно мне казалось выбраться из этой безвыходной чащи ночью, которая была уже сумрачной и которая вскоре должна была сделаться черной.

VI

Я сидел на камне на краю того, что должно было изображать тропинку. Я смотрел в сторону небольшой темной котловины, отделявшей меня от первого перевала, — туда, где лежал труп моей лошади. Я собирался подняться и продолжать путь, потому что мне надо было во что бы то ни стало идти до конца, достигнуть этого недоступного форта и выполнить свою миссию.

Внезапно по ту сторону котловины, на первом перевале ущелья, в нескольких шагах от меня, я увидел темный силуэт, четко обрисовывавшийся на еще светлом небе.

Человеческий силуэт, силуэт женщины, которая быстрыми шагами приближалась ко мне...

Изумленный и полный любопытства, я поднялся с камня. Разумеется, я ожидал всего, только не встречи с кем бы то ни было в этом месте и в этот час. Ни крестьянин, ни дровосек, ни охотник не посещает Мор де Готье даже белым днем, потому что там нет ни пастбищ, ни деревьев, ни дичи. И было настолько же странной, насколько неожиданной случайностью, что я напал — как раз, кстати, этой темной ночью, в этот холод и дождь, — на единственную, быть может, женщину, которая проходила в ущелье за всю неделю.

Очевидно, это была какая-нибудь крестьянка из Валори или Морьер, спешившая вернуться домой. Не могло быть сомнения в том, что она хорошо знала все горные тропинки и что она охотно согласится указать мне дорогу.

Я сделал три шага ей навстречу. Впрочем, она должна была пройти очень близко от меня. Она шла быстро, с удивительной ловкостью скользя через заросли.

Она была всего в двадцати шагах. Вдруг я остановился, пораженный...

То не была крестьянка. Теперь, когда я ее видел лучше, я различал ее платье, самое странное платье, какое только можно было себе представить в таком месте: элегантный городской туалет! Юбка светлого сукна, по последней

моде; жакет из выдры с горностаевыми отворотами. Руки были спрятаны в очень широкой муфте, тоже горностаевой. Перья шляпы намокли и развились от дождя. Ни зонтика, ни манто. С головы до ног ничего правдоподобного! Одним взглядом я удостоверился в том, что местность вокруг не преобразилась в зимний сад или террасу, что это была все та же мрачная пустыня, и с неба сеялся все тот же пронизывающий дождь...

Я затаил дыхание. Мне было почти страшно...

Привидение все приближалось. Оно вовсе не было неосязаемой, сверхъестественной тенью; я слышал легкий скрип ботинок и шелест юбки, задевавшей за низкий кустарник.

Привидение прошло рядом со мной, коснувшись меня, не останавливаясь, не поворачивая головы... Я увидел рядом с собою его лицо, сначала прямо, потом в профиль. Я его увидел, и я его узнал. И у меня вырвался крик, полный ужаса:

— Мадлена!

Это была она: Мадлена, моя возлюбленная.

Казалось, она не слыхала, так же, как не видала. И она удалялась быстрыми шагами по пустыне...

VII

Мадлена...

Нет, я не могу написать ее фамилии.

Я познакомился с нею в позапрошлом году... да, в позапрошлом... 1907... в мае, кажется... Я не вполне уверен... это так далеко, так чудовищно далеко... Моя память колеблется, как пламя свечи, в которой сгорела последняя капля воска и фитиль которой, поникнув, бросает время от времени последние отблески...

В мае 1907 года... Вот что я вдруг увидел снова, при одном из этих отблесков... Это было на эспланаде старого замка, на вершине холма де ла Гард. Я медленно поднялся по извилистой тропинке. И за бесформенной развалиной, ко-

торая была некогда башней, я увидел сидящую Мадлену. Она обернулась, она покраснела; и по этому румянцу я понял, что смутил какую-то тайную грезу. У наших ног расстилалась прокаженная равнина, а за равниной, на южном горизонте — море. С ослепительно синего неба солнце жгло землю, и даже невидимая дымка испарений не умеряла его пламени. Вся равнина, зажженная, преобразилась, из некрасивой превратившись в прекрасную. Это был один из тех дней, сияющих золотом, когда грудь с трудом удерживает биение опьяненного сердца. Когда я увидел белокурые волосы Мадлены, мое опьяненное сердце забило. И когда на меня упал взгляд ее зеленых глаз, моей груди стало трудно сдерживать его биение. Позже я узнал, что наша любовь действительно родилась в миг этой первой встречи, потому что Мадлена призналась мне в таинственном и глубоко волнении, охватившем ее самое, когда она увидела мое волнение. О, это невозможно! Еще не прошло двух лет с тех пор... Я, от которого осталось теперь только несколько костей под мертвою кожей... я любил, и меня любили...

Я помню ночной праздник в парке великолепной виллы. Вилла стояла высоко над морем; парк спускался к берегу крутыми склонами, и морские сосны росли из них наклонно, так что черная зелень простиралась горизонтально над водою. Между этими соснами вились тропинки. И повсюду были развешены бумажные фонари, свет которых был таким мягким и нежным. Там я увидел Мадлену во второй раз. Ее платье лунного цвета открывало круглые плечи, свежие, цветущие, и при виде этих обнаженных плеч меня охватило могучее желание. Мы были вдвоем на террасе, возвышавшейся над волнами, и их смутный ропот поднимался к нам и обвивал нас. Далекие скрипки сплетали свои звуки с этим ропотом. Другие мужчины и женщины проходили поблизости. Одна пара дошла почти до террасы, нарушив наше молчание, потом удалилась.

Облокотившись на балюстраду над морем, мы с Мадленой разговаривали вполголоса, обменивались безразличными словами и удерживали другие слова. Наша беседа длилась долго. Один за другим фонари погасли за деревь-

ями. Красная луна взошла из-за моря и протянула по его поверхности свой отблеск, похожий на сверкающий кипарис. Скрипки замолкли. Поднимаясь снова к вилле, Мадлена решила положить свою холодную руку на мою. Сумрак над нами сгустился. Внезапное возбуждение овладело мною. Эта женщина, которую я восхищался при солнечном свете первого дня, которую я страстно хотел сейчас, в ночной темноте, покровительствующей поцелуям, была почти в моих объятиях; я вдыхал аромат ее волос, ее тела... Вдруг я наклонился, обнял дрожащие плечи и слил свои губы с ее губами, покорными...

И вспомнить здесь об этом — ужасно...

VIII

Это была женщина, полная жизни. Ее красоты, грациозной и нежной, не портили ни яркий цвет лица, ни горячая кровь, бег которой можно было видеть в ее голубых венах, ни здоровые формы ее длинных ног и пышных рук, ни гибкая сила всего ее мускулистого тела.

Наше первое объятие вспоминается мне как борьба...

Я вспоминаю вес ее тела, побежденного и сладострастного, которое я качал на руках, как качают, играя, тело маленького ребенка. Она смеялась, чувствуя, что тяжела даже для моей силы...

Я думаю, все это не слишком интересно, разве лишь для меня самого. А ведь я пишу не историю моей жизни, и не мои мемуары тоже. Я хочу, чтоб прочли это завещание, потому что оно содержит в себе Тайну, которую должны знать все мужчины и все женщины. Быть может, следовало бы сократить мой рассказ и продолжать, опуская все, что не имеет отношения к Тайне. Но сначала нужно, чтоб поверили в истину того, о чем я говорю здесь. Я не могу представить никаких доказательств, что я действительно тот человек, за которого себя выдаю: Андре Нарси, патентованный кавалерийский капитан, родившийся в Лионе 27

апреля 1876 года и умерший в Тулоне 21 декабря 1908... или 22 января 1909.. Я умираю оттого, что не могу доказать этого. Так нужно, по крайней мере, чтобы деталями и точностью рассказа я убедил тех, кто меня будет читать. И потом, если подумать хорошенько... все, все имеет отношение к Тайне!

В день нашего первого объятия, подняв Мадлену на руки и играя ее телом, я нашел, что тело это было тяжелое. Позднее, когда я возобновил ту же игру, мне показалось, что оно уже не так тяжело...

Мадлена... Я не могу написать ее фамилии, не могу также говорить о ней с ясностью, которая могла бы быть опасной для ее чести женщины. Намеренно я изменю здесь — только здесь! — несколько подробностей, солгу в нескольких фактах, в нескольких датах, в нескольких обозначениях мест. Необходимо, чтобы я был точно понят, но не имеет значения, если я напишу, например, «июнь» вместо октября, «экипаж» вместо лодки, или «Тамарис» вместо Диеп. Я должен быть осторожным, тем более, что пламя моей памяти ежеминутно никнет, колеблется и гаснет, чтобы снова вспыхнуть спустя несколько минут тоскливого мрака; пламя моей памяти и моего рассудка тоже... Если б я не был достаточно осторожен, я без сомнения сказал бы то, чего не следует говорить...

Она была дочерью и женою богатых людей. Ее отец, суровый и холодный старик, проживал зиму и лето в подобии замка, почти разрушенного, в глухой местности, затерянной среди меловых гор, отделяющих Тулон от Обани. Он жил в этой берлоге один, не принимая никого и не выезжая никуда сам. Одна из тех семейных трагедий, о которых не знаешь, более ли смешны они в глазах света или тягостны для разбитых ими сердец, — разлучила этого человека с женою десять или пятнадцать лет назад. Старики в Тулоне, Ницце и Марселе еще рассказывают историю этого развода, очень скандальную, по их мнению. О ней судачили иногда на скучных вечерах, если на зубок не попа-

далось более свежей сплетни. Что касается меня, я никогда не чувствовал склонности к этому мерзкому лакомству. И, по правде говоря, я не знаю, из-за чего в конце концов разошлись эти супруги. С ним я однажды виделся по делу. Ее я встречал часто по всей Ривьере, но никогда не был ее другом. Это была женщина очень легкомысленная, еще красивая, на взгляд всех, и молодая, на свой собственный. У нее была великолепная вилла в Болье и довольно крупное имение в Корнише. Она проводила три месяца в году в имении или на вилле и три других месяца в Тулоне у дочери. Остальное время — не знаю где... В Париже, вероятно. Мадлена круглый год жила в Тулоне, потому что ее муж не имел возможности отлучаться от арсенала. Только на время сильной жары она спасалась на оконечность полуострова, который замыкает рейд, — полуострова, всегда освеженного ветром с моря. Там разбросано несколько уединенных домиков. Муж Мадлены владел одним из них, не приезжая туда, впрочем, сам никогда, потому что сообщение между городом и этим местом не отличается быстротой. Моя служба, напротив, позволяла мне посещать все окрестные батареи так часто, как мне было угодно. Таким образом, Мадлена и я могли со всеми удобствами совершать прогулки в лесах Сепета или Сисье. Я приезжал верхом, в сопровождении вестового, человека очень верного, который ехал на тщательно выбранной для моей подруги кобыле. Мы меняли седла перед хужиной таможенного надсмотрщика, служившей нам станцией. Солдат ожидал нас там, куря мои сигары. Мы беззаботно скакали верхом, свободные в этих пустынных рощах. Я не помню, чтобы когда-нибудь у нас была опасная встреча. И мы были настолько смелыми, что спешили во время каждой прогулки, всякий раз, когда песчаная прогалина между двумя рощицами предлагала нам мягкий диван, прогретый солнцем. Мадлена расстегивала свой корсаж, с наслаждением погружала руки в теплый песок и сравнивала два ощущения: от теплого песка и от теплой, тонкой и гладкой кожи.

Да, я рассчитал правильно: в мае 1907 года я встретил

Мадлену на эспланаде старого замка; в июне того же года я снова увиделся с нею в иллюминированном парке, во время ночного праздника И немного позже, пятнадцать или двадцать дней спустя, я уже мог взять на руки тело моей любовницы и перенести его, играя, с шезлонга в постель.

И это было тело женщины высокой, хорошо сложенной и сильной, хотя и тонкой. Оно было тяжелым.

Прошло несколько недель, шесть или восемь, самое большое десять. Когда наступил сентябрь, мы сидели однажды утром вдвоем на одной из песчаных прогалин, на которых останавливались во время наших прогулок верхом по лесу. В то утро мне пришла фантазия снова затеять ту же игру. Моя возлюбленная отдыхала подле меня, запыхавшаяся и смущенная. Я наклонился над ней и обвил руками ее талию. Она продолжала смеяться, выражая сомнение, чтобы — усталый, каким я должен был быть, — я смог поднять ее. Я напряг мускулы, собирая все силы и сомневаясь сам в успехе. Но я был поражен: почти без усилия я поднял с песчаной постели распростертое тело, и тело это показалось мне легким — странно легким...

IX

Огонь умирающей свечи внезапно бросает яркий отблеск...

Я вспоминаю ясно, ясно эту минуту...

Вокруг прогалины красные стволы в пятнах коричневой коры были как колонны храма, расписанные пурпурною охрой. Зонтичная сосна, более высокая, чем морские сосны, раскинула над нами свой тенистый купол. Служивший нам постелью песок был не белый, а желтый, и местами казался вызолоченным. Кое-где его усыпала смолистая хвоя. Когда Мадлена поднялась, я остановил ее на минуту, чтобы стряхнуть с ее юбки и спины корсажа приставшие к ним иглы.

Роща окружала нас зеленеющим кругом. Тишину нарушал только звон уздечек наших лошадей, которые жевали листья неподалеку, да пение невидимого моря.

Чтобы снова подняться на седло, Мадлена поставила ногу на мою ладонь. Я был внимателен: на этот раз я снова почувствовал, совершенно определенно, что она весила меньше, чем прежде.

И в то время, как наши лошади пролагали себе дорогу сквозь заросль, я почти невольно задал вопрос:

— Дорогая, вы не были нездоровы эти дни?

Она удивилась.

— Я?

— Да, вы... Я нахожу, что у вас утомленный вид.

Она инстинктивно открыла пудреницу и посмотрелась в зеркало ее крышки. Потом залилась смехом.

— Полноте, дорогой! Что вы выдумываете? У меня щеки, как у крестьянки!

Прогулка и остановка разгорячили ее молодую, пылкую кровь. Ее покрасневшие щеки действительно блестели как полированный коралл.

Она поспешила погасить этот блеск кончиками пальцев в пудре. Она продолжала весело смеяться.

— Хорошо, что вы заставили меня подумать об этом. Ведь это было написано под моими глазами... ваше усердие сейчас, сударь... под моими глазами и на моих щеках тоже... Но только не так, как вы говорите... Совсем наоборот!..

Тогда я подумал, что, быть может, это действительно было объяснением. Молодая женщина, горячо любимая слишком пылким любовником, может устать и быть обессиленной не без того, чтобы это отразилось на цвете ее лица или губ: тайная лихорадка страсти скорее ярко окрашивает их, чем делает бледными.

Но мне пришло в голову: за целую неделю я принял у себя мою любовницу только один раз. За шесть дней отдыха можно восстановить свои силы после самого изнурительного дня работы... Шесть дней, да: в то утро был седьмой день со времени нашего последнего свидания в Тулоне.

- Радость моя, что вы делали со вторника?
- Со вторника?
- О, рассеянность! Со вторника, да.
- Вот еще, есть о чем вспоминать... Ничего не делала.

Я вернулась в город в четверг...

- И не дали мне знать, бессовестная?

Она повернулась на седле и посмотрела на меня с удивлением, как смотрят, неожиданно напав в глубине души на заснувшую мысль, о существовании которой не подозревали. Она повторила тоном вопроса:

- Не дала знать вам?

Потом, глядя на шею лошади, прошептала про себя:

- Действительно, это правда... я вам не дала знать...

Она казалась смущенной каким-то странным смущением. Сначала это меня забавляло.

— Наверно, — сказал я, — в этот день у вас было какое-нибудь свидание, более интересное, чем наши.

Она провела рукой два раза по лбу. Я увидел четыре розовых отблеска на ее ногтях против солнца.

- Свидание? Какое свидание?

Она говорила точно во сне. Я немного повысил голос, как делают, призывая к вниманию рассеянного ребенка.

- Нет, это я вас об этом спрашиваю!

Она вздрогнула и внезапно переменила тон.

— О, простите... Я нигде не была... В четверг? Я вернулась в город... села на поезд... поехала в Болье...

- Вы ездили повидаться с матерью? Она там теперь?

- Мама? Нет. Мама теперь в Э. Ведь у нас сентябрь...

- Зачем же было ездить тогда в Болье?

- Зачем?

Казалось, она снова впала в состояние рассеянности.

— Потому что... мне надо было кое-что сделать... отправилась в Болье... Вот видите...

Она опустила поводья, чтобы порыться в маленькой сумочке, которую носила на руке.

- Видите... вот мой билет...

Изумленный, я взял кусочек картона, пробитый одним только отверстием.

— Ваш билет? Разве вы его не отдали при выходе с вокзала? Как же так?

Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами.

— Я не знаю... Нет, очевидно, я его не отдала... у меня его не требовали.

Складка между ее сдвинутыми бровями указывала на усиленную работу мысли. Внезапно, как будто исчерпав до конца свою память, она заговорила:

— Слушайте. Я лучше вам скажу... В самом деле, это нелепо... и мне почти совестно... но я хочу, чтоб вы знали... да, так вот: я решительно не знаю, зачем я была в Болье во вторник... Никто меня туда не звал, или, по крайней мере, я не помню, чтобы меня звали... Я не помню также, что я там делала. Я поехала во вторник утром и вернулась в пятницу вечером... очень усталая. Вот и все.

Вне себя от изумления, я натянул поводья своей лошади, которая сразу остановилась.

— Как «вот и все»? Но позвольте!.. А ваш супруг? Вы, конечно, объяснили ему свое отсутствие в течение сорока восьми часов? Вы мне двадцать раз говорили, что он вам не позволяет даже съездить в Марсель без уважительной причины?

И действительно: нужны были бесконечные разговоры для того, чтобы отвоевать несчастные две ночи, которые мы провели вдвоем за шесть или семь недель.

Но она нервно ударила стеком обеих лошадей, которые поскакали вперед.

— Ну, да! Это забавнее всего. Я объяснила мужу, прежде чем уехать... но я не помню ни одного слова из того, что я ему объясняла.

— Но когда вы вернулись? Я полагаю, он вас расспрашивал о вашем путешествии?

— Да, он мне сказал, слово в слово, — каким-то чудом я это помню, — «Довольна ли ты? Все устроилось, как ты хотела?» Я инстинктивно ответила: «Я очень довольна». И он не настаивал больше.

— Но самое путешествие? Ваш приезд в Болье? Где вы были, когда сошли с поезда?

— Где? В городе, разумеется...

— «Разумеется»! Непохоже что-то, чтоб вы были в этом уверены!

— Да... и все-таки... Но я так смутно вижу все это... Как будто огромный, черный провал в моей памяти... И даже хуже: когда я пытаюсь заглянуть в этот провал, у меня болит здесь... и здесь...

Она прикоснулась пальцем к своему виску, потом к нижней части лба, между бровями. И когда я снова начал попытываться, пристально глядя в ее глаза, она вдруг расплакалась, крупными, тяжелыми слезами.

И я позабыл обо всем, осушая эти слезы своими поцелуями.



Потому что я ее любил...

Какая насмешка в том, что я пишу здесь это слово — «любил» — и какой ужас!

И все же, так нужно, чтобы все мужчины и все женщины поняли... чтоб поверили...

Да, я ее любил.

Может показаться странным и невероятным, чтобы человек любил женщину, которую он встретил один раз днем и один раз при лунном свете, которую он нашел прекрасной и сказал ей об этом, которую он пожелал, домогался и обладал...

Но вы все, мужчины и женщины, спросите свою память, вспомните! Вы так же встречали друг друга, желали, домогались, обладали. И сначала, в самом деле, не любили друг друга. Ваше желание было только любопытством. Сплетая ваши руки в первом объятии, вы думали: «наверно, это объятие также и последнее». И часто оно и было последним объятием.

Однако, иногда — вспомните! — вкус поцелуев, которы-

ми вы обменялись, оставался у вас на губах. Мимолетное приключение становилось капризом. Иногда бывало и так, что каприз переходил в связь. Сначала вы думали: «столько ночей, сколько я захочу, столько ночей, сколько она захочет». Потом, наконец, — вспомните вы, все! — «столько ночей, сколько жизни»...

Я знаю, я знаю. Это — мечта, а мечты недолговечны. Тело устает скоро, и дух еще скорее, чем тело. Желали друг друга на всю жизнь, а спустя шесть месяцев изменяют, ненавидят, забывают один другого. Я знаю. Но не все ли равно? Желали друг друга на всю жизнь искренне. Искренне верили, что отныне будут одним существом. И от всего сердца предпочли бы умереть сами, чем видеть смерть другой половины самого себя.

Вспомните вы все, мужчины, вспомните, чтобы понять...

XI

Итак, это был вечер — вечер 21 декабря 1908 года, моего последнего дня. И я был в ущелье со странным именем Мор де Готье. У меня вырвался крик, полный ужаса:

— Мадлена!

Это была она: Мадлена, моя возлюбленная, — одна, пешком, в этой пустыне, темной ночью, — Мадлена, бегущая по зарослям, под зимним дождем, в городском платье, в пяти лье от своего дома...

И, казалось, она не слыхала, так же, как не видала. И она удалялась, быстрыми шагами, по пустыне...

В продолжение секунд я был парализован изумлением, мое сердце остановилось. Потом оно начало биться с безумной силой. Одним прыжком я вскочил на ноги и пустился преследовать убежавшую.

Она спустилась по склону котловины, которая разделяет второй и третий перевалы. Поверх них я видел только белое пятно горностаевого воротника.

Я пустился бегом.

Но внезапно почва исчезла у меня под ногами. Скала под ковром поросли была глубоко взрыта множеством расщелин, подобных той, в какую сейчас попала моя лошадь. Я свалился в свою очередь. Поднимаясь, я увидел белое пятно горностаевого воротника уже далеко...

Я снова закричал изо всех сил:

— Мадлена!

Но она меня не слыхала. Теперь я видел на вершине третьего перевала таинственный силуэт, который пять минут тому назад я заметил на вершине первого. Он только не так четко выделялся на более темном небе...

Я продолжал бежать. Силуэт медленно исчезал, спускаясь вниз, за третьим перевалом. Когда я достиг его, я увидел у моих ног только пустынный склон, первые уступы цепи Мура направо и первые уступы Большого Мыса налево от меня.

...И никакого следа человека...

В отчаянии я продолжал бежать по зарослям, окутанным ночной темнотой. Безнадежно я хотел догнать ту, которую преследовал. Безнадежно я хотел пролить свет на эту странную тайну. Все мое сердце устремлялось по следам беглянки. Все мое сердце и вся моя смятенная мысль...

Я бросился вниз с вершин скал. Потом, когда мне казалось, что я заметил белое пятно налево, среди других неведомых скал, я начинал карабкаться на них. Я прыгал с камня на камень, порою скользил, ударяясь о камни коленями и руками, разрывая о скалы одежду и царапая лицо.

Я бежал долго, долго, долго...

Я остановился только тогда, когда иссякли мои силы и дыхание прервалось. Тогда я упал, изможденный, уничтоженный. И я лежал как труп на голой земле. Внезапно, как бывает с далеко переступающими пределы физической и моральной энергии, меня сразил, подобно громовому удару, мертвый сон без сновидений.

ХП

Я не знаю, сколько времени я спал.

Странное, но знакомое ощущение резко прервало мой сон: ощущение постороннего присутствия и взгляда, устремленного на меня. Я лежал на боку, уткнувшись лицом в ладонь. Таким образом, я ничего не видел. Но влияние этого присутствия и тяжесть этого взгляда поразили меня сразу, и я, в буквальном смысле снова, получил удар по затылку. Часто я угадывал так во сне приближение живого существа, но никогда с такой силой.

Мне показалось, что существо, заставившее меня испытать такой сильный шок, не могло походить ни на какое другое существо.

И я, бывший в то время, — невообразимо далекое! — человеком молодым, горячим и храбрым, вместо того, чтобы тотчас же вскочить и стать лицом к лицу с присутствием, которое я ощутил, — я не шевельнулся и продолжал лежать на земле, с закрытым ладонью лицом, притворяясь все еще спящим и вслушиваясь в каждый шорох...

Сквозь полуоткрытые веки я видел за моей рукой квадратный фут земли и кустарника. Мало-помалу эта земля и этот кустарник осветились желтым трепетным светом. Я понял, что над моей головой раскачивается фонарь.

Тогда я сделал движение, как будто проснувшись только в этот момент. Потом я встал.

Передо мною был человек — человек очень старый.

Очень старый; несмотря на ослепляющий свет потайного фонаря, который он направлял мне в глаза, я увидел с первого взгляда на груди этого человека широкую и длинную бороду, сверкающую снежной белизной.

Голос, которым он заговорил со мною, не был, однако же, голосом старика. Не то, чтоб ему недоставало серьезности и глубины; но он совсем не дрожал, звуча, напротив, с мужественною силой, без всяких признаков разбитости и дряхлости. И я был изумлен этим не менее, чем отрыви-

стым тоном, которым он ко мне обратился, в таких выражениях:

— Сударь, что вы здесь делаете?

Я не ожидал этого вопроса, и он показался мне невежливым, принимая во внимание, в каком положении этот человек нашел меня. Я подумал, однако, о том, что спрашивающий был старше меня по крайней мере вдвое. И я ответил настолько вежливо, насколько мог:

— Вы видите, сударь, я сбился с дороги; хуже того, я заблудился.

Потайной фонарь продолжал ослеплять меня. Тем не менее, я различал довольно хорошо глаза — странно яркие и более острые, чем бурав. Суровый и отрывистый голос послышался снова:

— Заблудились? Здесь? Откуда же вы идете, сударь? И куда?

Я был настолько раздражен этим допросом, что не обратил внимания на странный характер языка, корректного и правильного, которым говорил этот горный бродяга. И я сухо объяснил:

— Я ехал из Тулона, через Солье. Я направляюсь в форт Большого Мыса. Я сбился с дороги близ ущелья Мор де Готье, где моя лошадь сломала ногу. И я окончательно заблудился, пытаюсь найти кратчайший путь до большого Мыса по горным тропинкам.

Мои объяснения, казалось, более или менее удовлетворили человека с седой бородой. Его фонарь, отведенный от моего лица, осветил вокруг нас гористую и дикую местность. Тогда я увидел, что мой сумасшедший бег действительно завел меня в такой хаос скал, в котором мое присутствие могло с полным основанием изумить кого угодно.

И, пораженный в свою очередь появлением в этом хаосе другого человеческого существа, я со своей стороны задал вопрос:

— А вы сами, сударь? Каким образом вы здесь?

Широким жестом он указал на крутой склон, поднимавшийся слева от меня.

— Я вас увидел оттуда, сверху...

Он замолчал, и я вместе с ним.

Теперь, когда фонарь оставил в покое мои глаза, я рассматривал моего собеседника.

То был действительно старик, и притом чрезвычайно старый. Кроме снежно-белой бороды, о глубокой старости говорила похожая на пергамент кожа, худоба рук, морщины на лице. Но это был старик изумительно сильный и бодрый. Его стан был прям, голова высоко поднята; локти и колени казались гибкими. Он был высок, с длинными ногами и широкоплеч. Все в нем дышало силой, и палка, на которую он опирался, превращалась в его руке в настоящее оружие. Перед этим человеком, быть может, восьмидесятилетним, я — солдат тридцати трех лет — чувствовал себя хилым. Инстинктивно я нащупал в кармане широкую и длинную выпуклость моего пистолета, в котором из восьми пуль не доставало только одной, — пули, сразившей недавно моего Зигфрида.

Секунду спустя мне стало стыдно за этот смутный и глупый страх, который заставил меня протянуть руку к оружию, и я возобновил разговор.

— Сударь, — начал я, на этот раз очень учтиво, — я еще не поблагодарил вас, извините меня. Я не оценил вашего благородного вмешательства: чтобы помочь мне, вы, быть может, рисковали жизнью, спускаясь по этому опасному склону. Примите мою благодарность. Я — капитан Андре Нарси, из главного штаба вице-адмирала губернатора.

Я остановился, предполагая, что в обмен на мое имя услышу другое. Но старик не назвал себя. Во всяком случае, он слушал чрезвычайно внимательно. Я продолжал:

— Я везу пакет караульному батарее в форте Большого Мыса. Если я сбился с дороги и заблудился, если я кончил тем, что упал от истощения и заснул здесь, изнеможенный, то все это благодаря тому, что я пытался выполнить миссию, которая на меня была возложена, и от которой я и сейчас не могу отказаться. Теперь, сударь, осмелюсь ли я обратиться еще раз к вашей любезности: укажите мне, прошу вас, хорошую дорогу, которой я не мог найти сам, дорогу, которая ведет к Большому Мысу.

Говоря все это, я продолжал рассматривать человека, с которым разговаривал. Внезапно я обратил внимание на его костюм. В нем не было ничего необыкновенного; это был приблизительно тот костюм, какой можно было ожидать увидеть ночью в горах на пастухе, охотнике или дровосеке: тяжелые башмаки, длинные гетры, блуза и панталоны из потертого бархата, никаких видимых признаков белья. Но в ту минуту, когда я заканчивал свою фразу, меня вдруг поразил контраст между этим костюмом и академическим диалогом, который мы вели. Удивленный и снова испуганный, я едва расслышал ответ, который мне дали:

— Хорошую дорогу, сударь? Вы находитесь на плохой. На самой плохой!

Я сделал над собой усилие.

— Где же я, наконец? Далеко от форта?

— Очень далеко.

— Но в таком случае... как называется эта местность?

— Не думаю, чтоб у нее было название. На вашей карте она не значится.

— И тем не менее, сударь, это не заставит меня уклониться от моего дела. Во всяком случае, я нахожусь между Большим Мысом и Мор де Готье... Самое большее в двух лье от моей цели.

Рука, державшая палку, медленно поднялась и снова упала жестом иронической усталости.

— Два лье в эту ночь, сударь? Тому, кто сумел бы их сделать, они покажутся очень длинными.

Фонарь, поднятый снова, освещал хаос камней.

Я невольно покачал головой. Потом, собравшись с духом, отвечал:

— Нужно, чтобы я их сделал. Пакет, который у меня с собой, должен быть доставлен во что бы то ни стало. Сударь, будьте добры только указать мне направление к форту, и я вам буду очень обязан...

Палка указала на самый крутой склон нагроможденных друг на друга скал, казалось, ежеминутно готовых обвалиться.

— Туда.

Я не колебался более. Я отвесил поклон человеку с седой бородой.

— Благодарю вас, сударь.

И я храбро занес ногу на первый уступ склона. Но перед этим подъемом, почти невыносимым, мною овладел гнев, и я пробормотал про себя, сквозь зубы:

— Однако, в эту ночь и по этим скалам кто-то, известный мне, бежит достаточно быстро...

Я проворчал это сквозь зубы и про себя. Физически невозможно было, чтобы старик, находившийся на расстоянии десятка шагов, мог меня услышать. Тем не менее, я еще раз почувствовал на моей спине и затылке удар, подобный тому, который меня разбудил недавно: непонятный, тяжелый удар от взгляда этого человека с пронизывающими глазами. И я мгновенно обернулся, ожидая чуть ли не нападения.

Старик не двигался. Его глаза были устремлены на меня. Но их выражение отнюдь не было враждебным. Мне показалось даже, что я вижу улыбку на его суровом лице. Он заговорил. И голос его был как нельзя спокойным, даже сердечным. Отрывистый и резкий тон его недавних вопросов сильно смягчился.

— Сударь, — сказал он, — я не решался подать вам совет, которого вы у меня не спрашивали и которого, быть может, не примете. Но все равно. Мне пришлось бы упрекать себя в том, что я допустил вам идти навстречу своей гибели. Ибо не пройдет и часа, как вы сломаете руку или ногу, свалившись с одного из этих утесов. И если ли вы будете лежать на дне пропасти, ваша миссия от этого не будет выполнена скорее. Поверьте мне и подождите наступления дня, чтобы продолжать ваш путь. Переждав, вы наверняка прибудете в форт, и даже, быть может, вовремя. Пускаясь в путь сейчас, вы туда не попадете, ручаюсь вам в этом, — ни рано, ни поздно.

Он закончил убедительно:

— Нужно быть горцем, как я, сударь, чтобы рисковать ночью бродить по этим шатким камням.

Инстинктивно, прежде чем я мог удержать мою мысль или отвести в другую сторону, она вернулась к другой встрече несколько часов тому назад. Я закрыл глаза, чтобы снова увидеть отчетливо запечатлевшийся в глубине моей сетчатки образ Мадлены, Мадлены немой, бесчувственной и глухой, идущей по этой пустыне...

В тот же миг я получил в третий раз, прямо в лицо, таинственный удар флюида, который излучали внимательно смотревшие на меня зрачки. Я быстро открыл глаза с тем же непобедимым страхом. Зрачки были по-прежнему устремлены на меня. Безумное сомнение мелькнуло во мне: этот человек, этот человек по меньшей мере странный... не читал ли он каким-то чудом внутри меня, не слышал ли звука моих мыслей, подобно тому, как я слышал звук его слов?

Казалось, он внезапно принял решение.

— Сударь, — заговорил он снова, — мой дом здесь неподалеку. Не соблаговолите ли вы воспользоваться гостеприимством в нем до рассвета? Дождь холодный, и скоро настанет полночь.

Я вытаращил глаза. Дом, здесь, неподалеку?

Но он, поняв мое недоумение, наклонил голову.

— Здесь неподалеку, — подтвердил он. — Пожалуйте, сударь.

Он говорил теперь крайне мягко. И тем не менее мне казалось, что я слышу приказание, не повиноваться которому я не мог.

Я повиновался.

ХІІІ

Между обвалившимися скалами, между перепутавшимися кустарниками человек с седой бородой шел вперед широкими шагами, и палка служила ему только для того, чтобы раздвигать кусты терновника, очищая нам путь. Я

шагал по его следам; мне было трудно поспевать за ним, и я задыхался.

Долгих четверть часа шли мы так, один за другим. Потом мой вожатый внезапно обернулся ко мне:

— Будьте осторожны, сударь.

Концом своей палки он указал мне направо, на невидимое препятствие или опасность. Я осторожно приблизился. И мгновенно остановился, охваченный трепетом.

То была пропасть, край которой высокие колючие травы скрывали так хорошо, что можно было свалиться туда, не подозревая даже о ее существовании. Нащупывая ногой землю, я заметил внезапное исчезновение почвы. Я увидел между травами, далеко внизу, дно пропасти, служившее ложем потока, вымощенного белыми камнями, вокруг которых klokотала зеленая вода. На обрыве, почти отвесном, не было ни одного выступа, за который можно было бы ухватиться. И без сомнения, всякий, сделав на этом месте лишний шаг, неизбежно скатился бы вниз, в воду, kloкочущую над белыми камнями...

— Налево, сударь,— сказал старик.

Он продолжал путь, все удлиняя свои богатырские шаги. Я следовал за ним.

Местность теперь приняла странный и незнакомый вид. То не были более темные, изрытые трещинами склоны, где осталась лежать моя лошадь — там, в ущелье Мор де Готье. То не были также скалистые крутизны, где я преследовал и потерял из виду Мадлену. Это было слегка наклонное плато, но изрезанное по всем направлениям исполинскими отвесными глыбами, почти геометрические массы которых, каменистые и голые, возникали из земли, покрытой терновником, дроком и множеством других колючих растений. Эти странные глыбы, высеченные как будто топором, были рассыпаны без всякого видимого порядка. Там были кубы, треугольники, многоугольники. Ни один из них не был отшлифован достаточно ровно для того, чтобы вызвать представление о человеческой постройке. Но с другой стороны, все они были настолько правильны по

своей структуре и форме, что не могли не вызвать некоторого удивления перед такой странной игрой природы.

Вместе они образовали настоящий лабиринт, в котором нелегко было находить дорогу даже светлым днем. Тем не менее, старик ни разу не обнаружил колебания и уверенно продолжал свой путь в этом лабиринте рассеянных по всем направлениям глыб.

Еще раз вид местности изменился. Последние глыбы камней расступались. Уклон почвы делался все заметнее. Заросли дрока, мастики и мирт редели. Плато переходило в почти голую равнину.

Если я описываю с такой точностью весь наш путь, то это на случай, если б вы, читающие, нашли нужным разыскать этот дом, местоположение которого я не знаю, к которому не знаю дороги, — этот дом, которого я не мог бы найти снова, которого я не мог бы даже отличить среди множества других домов, быть может, сходных с ним, — этот дом Тайны...

...И мы туда пришли совсем просто.

В непроницаемой ночной темноте перед нами обрисовалась высокая и черная масса, более черная, чем ночь: ограда из высоких кипарисов вокруг небольшого сада, подобного всем садам, которые в чересчур солнечном Провансе окружают тысячи деревенских домов, во всем одинаковых между собою.

Железная изгородь предшествовала ограде кипарисов. Человек с седой бородой просунул руку между двумя прутьями этой изгороди и привел в действие какой-то секретный замок. Калитка заскрипела. Мои усталые ноги попирали густую траву. Над моей головой я смутно видел переплетающиеся ветви сосен, кедров, пробковых дубов.

Потом между тесно растущими стволами показался фасад из кирпича и камня. Под сенью ветвей, переплетенных между собою как нити и основа ткани, было так темно, что я не различал ни одной детали фасада, кроме крыльца из песчаника, на ступени которого я поднялся, — восемь ступеней, я помню, что сосчитал их, — и в левом углу крыши

чего-то неясного, очень высокого, что я принял за башенку или колокольню...

Вы узнаете, быть может?

Дверь из дерева, обитого железом. Дверной молоток изображает молот кузнеца, который ударяет по наковальне, двумя острыми шипами вбитой в створку двери.

Прежде чем поднять молоток, мой хозяин повернул лицо ко мне. Его глаза светились блеском, который внушал мне беспокойство. Но голос, по-прежнему ровный, и по-прежнему изысканно-учтивые обороты речи еще раз умили мой страх и еще раз заставили побороть свой инстинкт недоверчивого животного, готового к бегству...

— Сударь, — проговорил он, — теперь вы очень обяжете меня, если сообразовываете производить меньше шума. Мой отец, который нам сейчас отворит, — старик, и его покой следует уважать.

Металлический звон молотка, ударившего по наковальне, странно смешался в моих ушах со звоном слов, которые я услышал.

Отец этого человека, отец этого старика восьмидесяти лет или более?

Снова молот ударил по наковальне, на этот раз двойным ударом, почти без промежутка, подобным двойному удару ногой в землю, которым фехтовальщик предупреждает о выпаде. Потом последовал еще один простой удар, такой же, как первый.

И дверь отворилась.

XIV

Прихожая была обширной. Две горящих жаровни едва освещали ее. Я смутно видел стены, расписанные фресками, над панелью из дуба и орехового дерева, почти черного. Двери, низкие по-старинному, почти сливались с пане-

лью. Единственным украшением служили охотничьи трофеи.

Но что я увидел ясно, едва лишь переступив порог, — это был старик, стоявший передо мной, с рукою, еще лежащей на замке отворенной им двери, — до такой степени сходный со стариком, который меня привел, что невольно я обернулся, желая проверить, действительно ли это были двое разных людей, а не один со своим отражением в каком-нибудь зеркале: такая же длинная и широкая борода белее снега, те же неподвижные, пронизывающие глаза... Да, я обернулся, не веря в возможность такого полного совпадения. Но двое людей были действительно двое: отец и сын. Сын почтительно склонился перед отцом. И эта почтительность одна позволяла мне теперь отличать сына от отца, потому что оба они казались мне одинаково старыми, — одинаково столетними! — хотя одинаково сильными и прямыми, крепкими — молодыми.

Инстинктивно я остановился и приветствовал низким поклоном своего хозяина. Он ответил мне вежливо, но не говоря ни слова. Его глаза изучали меня с самой определенной настойчивостью. В конце концов они отвернулись от меня на мгновение, и я почувствовал, что эти глаза повелительно задавали моему проводнику безмолвный вопрос.

И сын сказал отцу:

— Сударь, я полагаю, что поступил правильно, пригласив сюда этого господина, которого я нашел под дождем, в состоянии, в каком вы его сейчас видите сбившимся с дороги или заблудившимся в начале лабиринта камней.

Он говорил вполголоса, как будто боясь нарушить покой спящего.

Наступило молчание, которое показалось мне долгим. Потом отец отвечал сыну:

— Я полагаю, сударь, что вы поступили правильно.

Он тоже говорил вполголоса.

Старомодная вежливость этого диалога меня изумила. Я осматривал костюм старика, который пользовался в разговоре со своим сыном церемонными формами позапрош-

лого века. Это была грубая одежда из потертого бархата, во всем подобная одежде, которую носил его сын; только вместо гетр на нем были шерстяные чулки и короткие панталоны, застегнутые пряжками под коленом.

Сын, между тем, излагал отцу мою историю. И я заметил, что он не упустил ни одной детали.

— Этот господин — офицер, — говорил он, — его зовут Андре Нарси; он послан с письмом в форт Большого Мыса; и письмо это, весьма нужное, по его словам, должно быть доставлено по назначению как можно скорее. Вот почему я счел возможным предложить господину офицеру наше гостеприимство на эту ночь, чтобы он отдохнул и продолжал свой путь завтра утром, когда аврора даст ему возможность не блуждать более напрасно, как он делал это сегодня вечером, потеряв путевую нить. Ибо господин офицер не встретил бы, разумеется, на своем пути ни единой живой души, которая могла бы, по крайней мере, указать ему направление. Без всяких сомнений, именно по этой причине господин офицер и уклонился так далеко от Большого Мыса, куда лежал его путь.

Настойчивость, с которою он старался подчеркнуть уединенность места, где мы были, меня поразила. Попеременно я всматривался в лица обоих стариков; но ни один мускул ни на одном из них не дрогнул. И голос отца, когда он ответил сыну, был совершенно спокоен. Он повторил слово в слово свою одобрительную реплику:

— Я полагаю, сударь, что вы поступили правильно.

Я искал формулу благодарности. Но прежде, чем я ее нашел, мой хозяин указал пальцем на одну из дверей, незаметных на фоне панели.

— В таком случае, следует, — сказал он, обращаясь по-прежнему к своему сыну, — чтоб господин офицер мог застать немедленно. Благоволите проводить его, сударь, и поведите ему.

Я опять молча поклонился. Мой проводник уже стоял передо мною, поднимая свой потайной фонарь на манер факела.

Наши шаги по мощеному полу пробуждали смутное эхо. Голые стены передавали одна другой звук, продолжая каждый шорох коротким дрожащим отголоском. Фонарь, направленный на одну из расписанных фресками стен, вел по ней световой круг. Я различал нежный рисунок и бледные тона мифологической сцены — кажется, рождения Афродиты из волн, насколько я мог понять.

Мой проводник поднял один за другим три толстых железных засова, более толстых и более длинных, чем все, какие я видел когда-либо. Засовы закрывали дверь, на которую указал другой старик. Присматриваясь вблизи, я заметил, что рядом с этой дверью была другая, так же скрытая в панели и так же запертая. Вместе они представляли подобие двух створок одной и той же двери, — створок, которые сходились довольно плохо, несмотря на их тяжелые засовы: между той и другой створкой была щель, шириною в палец, в которую мог свободно проникать воздух.

В то время, когда я размышлял об этом, другой старик, — отец, все время стоявший среди прихожей, не спуская с меня глаз, — вдруг направился к нам. И его шаги, хотя легкие, звучали так же, как и наши. Я остановился и смотрел на него. Он сделал жест рукой и сказал, обращаясь на этот раз ко мне:

— Сударь, я забыл предупредить вас: под этой кровлей и как раз неподалеку от вашей комнаты есть больная. Осмелюсь ли я поэтому просить вас, чтобы вы постарались производить меньше шума?

Во второй раз в этом доме меня просили соблюдать тишину, и оба раза под разными предлогами.

Тотчас же одно мимолетное ощущение заставило меня содрогнуться. Точнее, содрогнулся не сам я, но то подсознательное, которое живет в нас, которое бодрствует, когда мы с ним, и которое обладает своей собственной памятью, отличной от нашей. Из-под другой двери — двери, которая оставалась запертой, донеслось веяние теплого воздуха. В прихожей было довольно свежо. Очевидно, за этой запертой дверью находилось помещение, лучше протопленное...

Это веяние теплого воздуха было ароматным, пропитанным душистым запахом, который сразу уловили мои ноздри, но которого я не узнал; его узнало только мое подсознательное...

И я прошел в открытую дверь, прежде чем понял, что было за другой, запертой дверью...

XV

За открытой дверью был коридор и в конце коридора другая дверь. Пройдя ее, мой проводник осветил фонарем шесть ступеней. Я увидел, что они были из тех же красных квадратных плит, как и пол в прихожей. Только по краям они были опрaвлены в дерево, очень старое.

Поднявшись по этим ступеням, мой проводник толкнул последнюю дверь. Я вошел в совершенно темную комнату и остановился почти на пороге, опасаясь наткнуться на какую-нибудь мебель. Старик тем временем поднял стекло своего фонаря и начал зажигать три восковые свечи в исполинском железном канделябре, подножие которого покоилось прямо на полу и представляло собой связку копий. Осветившаяся комната оказалось старинной и по-деревенски бедной; обстановкой служили только этот канделябр, кресло и кровать, причем два последних предмета были очень простыми, — как в крестьянских домах. Мой проводник поклонился мне.

— Доброй ночи, сударь, — сказал он. — Спите спокойно: я буду иметь честь сам разбудить вас.

Я сказал:

— На рассвете?

— На рассвете, — подтвердил он, — и даже... быть может, немного ранее...

Фраза была вполне естественной. Я поклонился в свою очередь.

— Доброй ночи, сударь.

Он ушел. Я слышал его шаги на оправленных в дерево ступенях, потом на каменном полу коридора. Я слышал, как снова закрылась дверь прихожей. И я услышал — не столько с изумлением, сколько с тревогой, — как огромные засовы снова встали на свои места; их скрежет был внятно слышен в абсолютной тишине дома.

Я сел на соломенное кресло, в ногах кровати.

Мне надо было подумать, привести в порядок хаос мыслей, которые кружились во мне. Но, как только я сел, неожиданное ощущение резко прервало мою задумчивость.

Я оглядел стены комнаты, в которой находился, — стены, грубо оклеенные кричащей бумагой. Я обратил внимание на убожество обстановки. Один только канделябр составлял контраст с нею. Эта комната казалась необитаемой, — помещением для нескольких разнокалиберных вещей. И было бы естественно чувствовать в ней тот запах плесени, которым всегда дышишь в местах, слишком долго остававшихся пустыми и запертыми.

Но запах, щекотавший мне ноздри, был не таков. Напротив! Вся комната была пропитана теплым и живым ароматом, напоминавшим мне о другом, который только что проникал из-под запертой двери в прихожую. Не то, чтоб это был тот же запах, — нет; но это был запах того же рода, один из тех, которые бывают разлиты во всех комнатах женщин; одна из тонких смесей, где различные эссенции сливаются с природным ароматом холеной и нежной кожи. Я втягивал в себя воздух: в этом запахе я различал гелиотроп и розы, — и это напомнило мне, что основой запаха, который я чувствовал перед тем, был ландыш... И мощное потрясение моего существа заставило меня вскочить, — испуганного, обезумевшего, разъяренного. Звук этого слова — «ландыш» — как бы озарил меня внезапным светом. Запах, который я слышал несколько минут назад, запах на основе ландыша, был запах моей возлюбленной, Мадлены...

Странная подробность: в невыносимой тоске, сдавив-

шей мне горло, одна незначительная мысль сразу вернула мне хладнокровие: мысль, что я был совершенно слепым, безумцем, не догадавшись уже давно об этой истине, которая мне наконец открылась: уже давно, несколько часов назад, после первого же из двусмысленных слов, услышанных мною от моих странных хозяев. И этот запах, этот ландыш, который вызвал во всех моих фибрах столько ярких воспоминаний, столько знакомых трепетов, — как же, как я не узнал сразу? Прежде, чем три засова, замкнувшиеся за мной, сделали меня в этой комнате, в этой тюрьме, бессильным пленником?..

Бессильным? Быть может...

Почти спокойным жестом я положил руку на мой пистолет. Семь пуль. Бессильным? Нет! Семь пуль... Я вынул оружие. Медленно устремив глаза на дверь, я выдвинул магазин из рукоятки. Да, там было семь пуль. Я поставил магазин на место и обеими руками без шума зарядил пистолет. Опускной рычаг был на значке «безопасно». Я передвинул его пальцем, проверяя, достаточно ли легко он перемещается на «огонь». Тогда, с пистолетом в кармане, я снова сел. На рассвете, не так ли, меня придут разбудить? В таком случае, время есть. Я посмотрел на часы. Они показывали два. До рассвета было еще далеко. Я подошел к кровати. Простыни на ней были очень тонкие, тяжелое шелковое одеяло... И этот женский запах, разлитый кругом! Я оперся щекою на сжатый кулак. Эта постель, которую мне предлагали, эта постель, приготовленная заранее... и не для меня... Кто же обычно спал на ней? При этой мысли я увидел через перегородки и стены другую комнату, другую постель... И на этой другой постели спящую женщину — Мадлену! Мадлену! Дикая ревность пронизала меня как шпaga. Мадлена — на этой чужой постели... Потом изумление, беспредельное изумление пало на мою ревность и погасило ее. Мадлена — в этом месте, в этот час? Зачем, как? Каким темным волшебством? Ревность, ревность к этим старикам, седым как снег, — нет! Я не ревновал

больше, я не мог ревновать. В этом доме дело шло не о любви. Но о чем же?

На концах трех связанных копий огни трех свечей танцевали от движения воздуха. Эта дверь тоже запиралась плохо. Окно также, без сомнения...

В самом деле, в этой тюрьме было окно... Я приблизился к нему, прильнул лбом к стеклу, вперил взгляд в темноту там, за ним... Мрак. Непроницаемый мрак, сейчас же перед моими глазами... Густой плющ образовал экран, плющ, связывающий в настоящую пряжу перекрещивающиеся железные брусья. Тюрьма, да.

За одной из перегородок шаги на мгновение вспугнули тишину. Потом тишина воцарилась снова.

Я лежал на кровати и ждал, готовый ко всему: одетый, обутый, с рукою на пистолете. Я ждал, удерживая дыхание, подстерегая каждый зарождающийся шорох...

XVI

Мало-помалу спокойствие ко мне возвращалось. Я продолжал ожидать, лежа на кровати, одетый, обутый, с рукою на пистолете. И рука эта, готовая к убийству, не дрожала. Уверенность в близкой развязке приключения, вероятность борьбы за свою свободу, необходимость оказаться победителем — сколько могущественных укрепляющих лекарств, которые действовали энергично в моих мускулах и в моих нервах! Я не изумлялся более, или, лучше сказать, я подавлял свое изумление, я его откладывал. Мадлена в этом месте, в этот час — нет, никакое правдоподобное объяснение не объяснило бы мне этого. Но в данный момент и не было надобности, чтобы это объяснилось. И я отложил все излишние догадки на после, — на мгновение, которое последует за борьбой и победой.

Три свечи в канделябре продолжали гореть. Я видел, что они уже заметно укоротились. Еще раз я посмотрел на

часы. Было половина третьего. Свечи могли догореть раньше, чем кончится ночь. Мне пришло в голову, что нужно видеть ясно для того, чтобы с пользой употребить в дело пистолет. Я встал, подошел к канделябру и задул две свечи из трех. После этого я снова лег. На плитах пола мои шпоры звенели и, так как ковра не было, каблуки моих сапог стучали довольно громко. Вдобавок, когда я оперся коленом на край кровати, матрац закрипел тонким и долгим металлическим скрипом, который — если за мной следили — можно было услышать через две или три перегородки в абсолютной тишине этого дома. У меня как раз хватило времени сформулировать в мозгу эту мысль: словно эхо закрипевшего матраца, замок закрипел в свою очередь.

Одним прыжком я соскочил с постели. Мне пришлось сделать усилие, чтобы не схватиться сейчас же за пистолет и не направить его на эту дверь, которая должна была отвориться.

Я удержался. В дверь, впрочем, корректно постучали. Потом створка повернулась, и я увидел в наличнике одного из моих хозяев, — я не различил, которого именно, — одного из двух одинаковых стариков, с длинными и широкими бородами. Он стоял, не двигаясь с места. Его глаза пробежали с головы до ног по мне, стоявшему одетым, с видом человека, который не ложился, который не хотел засыпать, который бодрствовал, — беспокойный, недоверчивый, готовый ко всяким случайностям. И я увидел в устремленных на меня глазах быстрый блеск, погасший в то же мгновение. Еще раз меня пронизала мысль, уже приходившая мне в голову: эти глаза, которые были устремлены на меня, не могли ли они видеть глубже, чем только на моем лице, видеть в самом моем мозгу, похищая там мои тайные, обнаженные мысли?

Тогда старик заговорил:

— Вы не спите, сударь. По правде, мы так и думали. В таком случае, быть может, вы перестанете терять время в уединении этой комнаты, и сообразоволяете присоединиться к нам в зале? Поверьте, что это будет лучше для вас, как и для нас также.

Я снова овладел собой. Я отвечал, не колеблясь.

— Да, сударь.

И я двинулся к нему.

Он посторонился, как будто для того, чтобы дать мне дорогу. Я отказался. Быть может, он понял мою благоразумную мысль, потому что не настаивал и, пройдя вперед меня, пробормотал:

— Пусть будет так. Чтобы указывать вам путь...

В прихожей я остановился перед дверью, откуда до меня донесся запах моей возлюбленной. Но меня вели не туда, — еще не туда.

Действительно, старик прошел через прихожую, видя, что я остановился, позвал меня:

— Сюда, сударь, пожалуйста...

«Сюда» — это не был коридор. Дверь — опять такая же, и опять незаметная на фоне панели — вела прямо в просторную комнату, более просторную, чем прихожая, и отделенную от нее только перегородкой.

Яркий свет ослепил меня. Пятьдесят или шестьдесят свечей горели на стенах, а также две стоячих лампы, помещенных по бокам камина, — старомодного камина, под огромным колпаком которого, с рельефными украшениями и гербами, можно было изжарить несколько быков. Я увидел другого старика, сидящего в креслах лицом ко мне; поодаль от него сидел незнакомец, который показался мне менее старым, не будучи, однако же, молодым. Когда я вошел, оба они мне поклонились.

Я оставался на пороге, опасаясь, как бы дверь не закрылась снова. Незнакомец учтивым жестом указал мне на стул. Я отказался движением головы. Тогда он встал с места.

— Как вам будет угодно, — произнес он. — Я вас понимаю.

Он говорил чрезвычайно странным фальцетом.

Он оттолкнул свое кресло и сделал шаг ко мне. Двое стариков стояли за ним, по правую и по левую руку, как будто он был их начальником. Он им и был на самом деле...

— Господин офицер, — заговорил он снова, — позвольте мне, прежде всего, извиниться перед вами. Я поступил по отношению к вам неучтиво, потревожив вас во время сна. Но, быть может, вы спали плохо? В таком случае, я рассчитываю на вашу снисходительность.

Он сделал паузу и указал мне на своих двух компаньонов, одного за другим.

— Извините их так же, как меня, — продолжал он. — Они весьма достойные люди, но несколько дикие, что извинительно, принимая во внимание местность, эпоху и наше одиночество. Их манеры чувствительно страдают от всего этого. И меня затруднило бы изъяснять все их ошибки человеку щепетильному и обидчивому. Вы не таковы, и это меня радует. Однако ж, позвольте мне, сударь, исправить первую и наихудшую неучтивость, жертвой которой вы сделали. Вот этот господин, когда вы соблаговолили назвать себя, упустил из виду вам рекомендоваться. Я ему попенял за это, и я взываю ко всей вашей снисходительности. Его имя — виконт Антуан, ваш покорнейший слуга. Вот этот господин — отец его, по имени граф Франсуа. Я же — маркиз Гаспар, их отец и дед. Теперь все сказано, и я надеюсь, что вы не будете слишком строги ко мне и сядете.

Дверь позади меня оставалась отворенной настежь. Я бросил на нее взгляд и, покоряясь влиянию странной речи, которая была ко мне обращена, сел, как меня просили. Все последовали моему примеру,

— О! — сказал маркиз Гаспар. — Оттуда дует довольно холодный ветер.

Виконт Антуан услужливо поднялся. Но я опередил его и убедился, заперев дверь сам, что затвором служила простая защелка.

— Тысяча благодарностей! — воскликнул маркиз Гаспар. — Но, господин офицер, это чересчур любезно: почему вы не дали сделать это моему внуку?

Я уже снова сидел, и виконт Антуан тоже. В наступившем молчании я осматривал весь зал — старинный камин, в котором красным огнем горели поленья, свечи на стене, потолок из почерневших балок, старый тканый шелк кре-

сел, превосходного качества... Изумление наполняло меня, изумление, пред которым отступало все. Я смотрел на моих хозяев, двух столетних стариков с седыми бородами, и на этого человека, который утверждал, что он их отец и дед. На самом деле, он казался наименее старым из всех троих. На его бритом лице почти незаметно было морщин. Его живые глаза не были ввалившимися. Его тонкий голос не дрожал и не колебался... И, однако, это он был предок, патриарх, быть может, равный самым славным из предков Авраама... Почему я знаю?..

Молчание продолжалось. Мы сидели теперь лицом к лицу, я и они. И они изображали довольно верное подобие трибунала, которого маркиз Гаспар был председателем, а его сын и внук членами. А кем был я? Подсудимым?.. Обвиняемым?.. Осужденным?..

Все еще длилось молчание. Чувствуя себя немного смущенным под тройным взглядом, тяготевшим на мне, я повернул голову и еще раз окинул взглядом весь зал. Это действительно был зал — не салон, не курительная комната. Кресла были из золоченого дерева и парчи. Но стены, расписанные фресками, были без всякой обивки, без картин и зеркал. Кроме кресел, на которых мы сидели, меблировка состояла из двух канapé того же стиля — очень чистого стиля Людовика XV — и двух странных седалищ, вроде дормеза, с подлокотниками и подпоркой для головы, и таких глубоких, что в них можно было скорее утонуть, чем усесться. Я заметил еще стенные часы и сундук, помешавшиеся друг против друга, а также род передвижного станка, похожего на те, какими пользуются живописцы для установки холста, наклон которого нужно изменять в зависимости от освещения. В то время, как я смотрел на этот станок, маркиз Гаспар кашлянул, потом громко чихнул. Я увидел, что он держит в руках табакерку, из которой понюхал и которую потом положил обратно в карман своего платья. После этого он заговорил:

— Господин офицер, я желал бы прежде всего убедить вас в нашем добром расположении к вам, в нашем искреннем расположении. Суровость времени отразилась на

нас, и мы, все трое, более схожи по наружности с калабрийскими разбойниками, нежели с здешними христианами. Тем не менее, мы лучше, чем можно судить по виду, и мы докажем вам это.

Он замолчал, снова понюхал табак и, казалось, продолжал размышлять.

— Сударь, — сказал он, наконец, — мне было бы неприятно вести с вами тонкую игру. Я добросовестно полагаюсь на вашу честность. Скажите же мне с полной откровенностью: только ли случай привел вас так близко к нашему дому?

Я не успел ответить. Внезапно он остановил меня движением руки.

— Наверно, вы забрались в столь пустынную местность не единственно с целью нанести нам визит. Я даже охотно представляю себе, что до сегодняшней ночи наше существование не играло никакой роли в ваших мыслях и заботах. Не правда ли? Прекрасно; в этом мы согласны. Возможно, однако же, что ваше появление здесь окажется чем-то иным, а не простой лишь случайностью. Должен ли я продолжать? Сударь виконт — мой внук — нашел вас недавно в довольно необычном месте... Вы направлялись от Мор де Готье к Большому Мысу? Пусть будет так... Да хранит меня небо сомневаться в ваших словах. Но, чтобы очутиться там, где вы очутились, вам надобно было все время обращаться спиной к вашей цели. Заросли, однако же, довольно густы. Гулять по ним просто ради приятности незаманчиво. Я имел резон удивиться, что дворянин, здравый духом и немного географ, подобно всем людям вашей благородной профессии, заблудился так странно и так прискорбно... Честное слово! Сударь, можно подумать, что блуждающие огоньки бегают по горам, с намерением увлечь злополучных путников к гибели. И я думаю... Почему нет? Господин офицер, не приключилось ли это с вами, и не направил ли вас какой-нибудь блуждающий огонек из самых опасных к нашему порогу?

Он замолчал, наблюдая за мною.

С первых же слов его речи я уже предвидел заключение. Таким образом, оно меня несколько не удивило. При этом эта речь была длинной, и у меня хватило времени для размышления. Когда на сцене появились «блуждающие огоньки», мое решение было принято.

Медленно моя рука коснулась в кармане рукоятки револьвера. Я подобрал левую ногу под креслом и заранее напряг мускулы. Потом, готовый к прыжку и бою, я поднял голову и сказал не колеблясь:

— Как вам будет угодно, сударь. Неожиданная случайность, «блуждающий огонек» — выбирайте сами. Мне вам нечего отвечать. Напротив, я намерен вас спрашивать.

Он не нахмурился, как и два его ассистента тоже. Он улыбнулся, и улыбка не исчезла с его тонких губ. Я взял рукоятку пистолета в ладонь.

— Я тоже не хочу играть с вами в тонкую игру и рассчитываю на вашу искренность, потому что — даю вам слово, сударь, — в ваших собственных интересах не солгать мне. Затем, начнем по порядку и без предисловий. Сударь, не знаете ли вы случайно одной молодой женщины, по имени Мадлена де***?

Я назвал фамилию полностью. И маркиз Гаспар, смеясь еще веселее, наклонил голову и сделал рукою утвердительный жест.

— Хорошо, — сказал я, — дальше: правда ли, сударь, или неправда, что в настоящий момент дама эта является пленницей здесь в доме?

Склоненная голова медленно поднялась. Рука сделала отрицательный жест, улыбка сменилась недоумевающей миной.

— Пленницей? Отнюдь нет... Правда, что дама, о которой вы говорите, удостаивает нас «в настоящий момент», выражаясь вашими словами, своего приятного общества. Но если — в чем я теперь не сомневаюсь — вы недавно встретили ее по дороге к нам, вы могли сами убедиться, сударь, что она шла одна и без того, чтобы кто-нибудь увлекал ее к нашему дому, в котором она не является «плен-

ницей», как вы ошибочно полагаете. Нет, сударь, она не пленница, ручаюсь вам в этом.

Он откинулся назад в своем кресле, и его бритое насмешливое лицо обрисовалось еще более ясно на фоне парчовой спинки.

Несколько секунд я молчал, сбитый с толку. Потом я снова овладел собою.

— Пусть будет так; я ошибся и сознаюсь в этом. Госпожа де*** здесь свободна. В таком случае, ничто, очевидно, не препятствует тому, чтоб я был удостоен чести засвидетельствовать ей свое почтение. Могу я ее видеть? Я принадлежу к ее друзьям, и даже самым близким.

Улыбка на бритых губах перешла во взрыв пронзительно-визгливого смеха.

— О, господин офицер! Поверьте, мы это знаем. И простите, если я осмелился посмеяться над делом сердца, как ваше: я очень стар, и в мое время тайна в подобных вещах не была строго соблюдаема. Хорошо, хорошо... я вижу, вы затронуты; но это вышло случайно... Забудем об этом!.. Видеть госпожу де***? Это было бы можно, если б госпожа де***, весьма утомленная, не спала сейчас. Она только что заснула, вы же слишком галантны для того, чтобы такого резона не было вполне достаточно.

Он засмеялся. Я почувствовал пот на висках.

— Я не настаиваю,— сказал я, стараясь сохранить спокойствие.— Я обещаю не будить госпожу де***, если ее сон действительно так глубок. Но я все же хочу ее видеть. Мне кажется, это мое право, и надеюсь, что этого права не будут оспаривать.

На этот раз маркиз Гаспар перестал смеяться и пристально посмотрел на меня. Потом он сказал серьезным тоном.

— Знайте, господин офицер, ваше положение здесь таково, что вы можете требовать, чего захотите, не встречая отказа. Идемте.

Он встал, подошел к двери, отворил ее и вступил в прихожую.

Я следовал за ним, изумленный и беспокойный. Оба старика также встали и шли следом за мной.

— Сударь, — сказал мне вполголоса маркиз Гаспар, — теперь вы можете сообразить причину, по которой вас неоднократно просили соблюдать тишину в вашей комнате, смежной с этой...

То была дверь с тремя железными засовами, из-под которой час тому назад повеяло запахом ландыша. И это была действительно комната, какую я представлял себе, с голыми стенами, подобная моей комнате; и такая же кровать с тонкими простынями и шелковым одеялом.

На этой кровати лежала Мадлена, с закрытыми глазами, белыми губами и пепельно-серой бледностью на щеках... Мне не солгали. Она спала. Она спала очень глубоко, слишком глубоко, странным сном, холодным и бледным, более близким, быть может, к смерти, чем к жизни.

— Постарайтесь исполнить ваше обещание, сударь, — сказал маркиз Гаспар. — Вы видите, что госпожа де*** действительно спит. И, добавлю, она настолько слаба, что могла бы не перенести слишком резкого пробуждения...

Он продолжал говорить тихо, серьезным голосом, представлявшим странный контраст с шутливым тоном, которого он держался вначале.

Тогда из самой глубины моего существа поднялся холодный и страшный гнев, подобно тому, как дикие вихри зимы поднимаются над опустошенной равниной.

С пистолетом в руке я пошел прямо на этого человека — моего врага — и, приставив к его груди дуло оружия, готового к выстрелу, скомандовал:

— Молчать! Молчать все трое, и ни одного движения, — или я вас убью. А теперь отвечайте мне — вы, вы один. Повторяю: не лгать, под страхом смерти! Прежде всего: что вы здесь делаете с этой женщиной?

Я не спускал глаз с человека, которому угрожал. Но вдруг его взгляд приобрел какую-то странную силу. Я был точно ослеплен им, пронизан, побежден. Внезапный ужас вытеснил мой гнев. Я чувствовал, что жертва от меня ускользает. Последним усилием воли я хотел нажать на спуск

пистолета. Но выстрела не последовало. Глаза маркиза медленно, тихо, неотвратно опустились, переходя от моих глаз на мою руку. Они как будто сжали со страшною силой мои пальцы, парализовали их, сломали. Пистолет выпал у меня из руки и упал на пол.

Тогда, своим тихим, серьезным голосом, совершенно тем же голосом, как будто решительно ничего не произошло, маркиз Гаспар отвечал:

— Что я здесь делаю с этой женщиной? Сударь, не может быть ничего законнее вашего любопытства. И я буду иметь честь удовлетворить его. Но не угодно ли вам будет возвратиться туда, откуда вы пришли, чтобы не тревожить госпожи де*** в ее сне?

Обе мои руки были свободны, как и обе мои ноги. И вместе с тем мне казалось, что я был связан по рукам и по ногам. Я не мог сделать ни одного движения, исключая тех, которые мне приказывал делать маркиз Гаспар, мой повелитель.

Пленник духом и телом, я молча повиновался. Я возвратился туда, откуда мы пришли.

В ту минуту, когда я покидал комнату, в которой спала моя возлюбленная, я почувствовал неодолимое желание бросить взгляд назад, на нее — один только взгляд...

Но мне не позволили этого.

XVII

— Господин офицер, — начал маркиз Гаспар, — вы можете требовать всего здесь, ни в чем не встречая отказа. Ни в чем. Кроме единственной вещи, о которой сейчас будет речь. В данный момент вы мне задали вопрос относительно госпожи де***, и, поистине, я предпочтительнее хотел бы не отвечать вам. Быть может, однако же, ответ этот будет более длинным, нежели вы полагаете. Все равно. Повторяю, нет ничего такого, чего бы я не исполнил бы, чтобы удовлетворить вас. Теперь же простите, если я утомлю ваше

внимание объяснением, быть может, и скучным, но необходимым.

Он помолчал немного, открыл свою табакерку, предложил ее сыну и внуку и понюхал сам. Потом он начал:

— Сударь, я родился довольно далеко отсюда, в маленьком городке Германии, в лето от Рождества Христова...

Он снова замолчал: граф Франсуа, порывисто поднявшись со своего кресла, протянул к отцу руку, словно умоляя его не говорить дальше.

И маркиз Гаспар действительно молчал несколько секунд. Посмотрев на своего сына, он вытянул губы с выражением иронической снисходительности.

— Ну! — произнес он, наконец, самым высоким фальцетом. — Франсуа! В вашем возрасте такое ребячество! Не кажется ли вам, что господин офицер уже слишком много знает о Тайне, слишком много? Теперь не имеет значения, узнает ли он все или же будет оставаться в неведении об остальном...

Он опять повернулся ко мне и начал снова:

— Сударь, я родился, как уже имел честь вам сказать, в маленьком городке Германии, Эккернахерде, неподалеку от Шлезвига, в году от Рождества Христова 1733, — да, сударь, тысяча семьсот тридцать третьем. Следовательно, сегодня, 22 декабря 1908 года, мне сто семьдесят пять лет от роду. Не удивляйтесь слишком: ничего не может быть более достоверного и ничто не может быть легче объяснено. Если бы вы имели досуг, я рассказал бы вам в подробностях не всю мою личную жизнь, что для вас показалось бы неинтересным, но кое-что из моих первых пятидесяти лет. Однако же, это слишком далеко завлекло бы нас, и ночь оказалась бы чересчур короткой для такого рассказа. Итак, позвольте мне, сударь, сократить его, говоря лишь о том, что является существенным. Мой отец, славный дворянин на службе его величества короля Христиана Шестого Датского, был храбрый солдат; он прославился в войнах предыдущего царствования, но представлял незначительную фигуру при дворе властителя столь мирного, единственным интересом которого были науки и искусства. Европа

наслаждалась тогда миром, и мой отец волей-неволей должен был приспособляться к этому. Но мир был непродолжительным, и не исполнилось мне семи лет, как разразилась новая война, в которую вмешались Австрия, Пруссия, Франция и несколько мелких государств, ловцов рыбы в мутной воде. Дания едва не одна держала свою шпагу в ножнах. Мой отец не стерпел этого и предпочел эмигрировать. Мы прибыли в Париж, потом в Версаль, где король Людовик XV принял нас милостиво. Во французской армии было место для всех храбрых людей. Мой отец был замечен, и карьера его обещала сделаться блестящей; но английское ядро ее пресекло 10 мая 1745 года, в тот самый момент, когда славная победа при Фонтенуа была решена. Отец много способствовал ее одержанию на глазах самого короля, который умел не забывать заслуг павших, и, в награду, призвал меня занять место среди своих пажей. Так началась, сударь, моя самостоятельная жизнь. Долгое время она была беззаботной и веселой. И теперь еще я вспоминаю с нежностью очаровательные годы, которыми наслаждалась Франция после мира 1747 года. В особенности двор предавался празднествам, любви и веселым безумствам. На мою долю выпала честь участвовать во всем этом. И по справедливости, если сегодня вы видите меня живущим в уединении отшельником, главная тому причина в благоденствии, исполненном изящества, среди которого протекли мои юные годы, и несравненная прелесть которого вселила в меня отвращение к мизерным радостям, какие вы, люди девятнадцатого и двадцатого веков, могли бы мне предложить, если б я захотел этого. Но к чему докучать вам бесплодными сетованиями! Я оставлю их, извиняясь за промедление. И немного поздно, но перейду к делу.

Я уже говорил вам, сударь, что я был пажом короля Людовика XV, начиная с 1745 года. Я продолжал быть им и пять лет спустя. В качестве пажа я имел честь однажды ввести к его величеству господина маршала де Бель-Иль, явившегося в тот день в сопровождении незнакомого мне господина представительной внешности. «Сир, — сказал мар-

шал (и мне кажется, я до сих пор вижу блеск пудры на его парике, склоненном в реверансе, и полы его кафтана малинового цвета, которые приподнимала шпага), — сир, имею честь представить вашему величеству, как вы соизволили приказать мне, господина графа де Сен-Жермен, бесспорно самого старого дворянина в королевстве».

Я посмотрел на графа. Вопреки этим словам, он казался мне дворянином в расцвете сил и лет. Никоим образом нельзя было дать ему свыше тридцати. Вы знаете, разумеется, все, что известно вашим историографам об этом необыкновенном, даже сверхъестественном человеке, который последовательно носил имена графа де Сен-Жермена, графа де Бель-Ами, синьора Ротондо, графа Цароги, преподобного отца Аймара. Из уважения, уважения сыновнего, осмелюсь сказать, я позволил себе посвятить вас в подробности моей встречи с тем, кто впоследствии был мне отцом, матерью, учителем и другом вместе. Разумеется, все это случилось не сразу. С 1750 года по 1760 граф Сен-Жермен был одним из самых частых гостей в Версале, я же продолжал служить королю. Потом разыгрались интриги, и граф вынужден был удалиться. Будучи не в силах оставаться там, где его не было более, я решил последовать за ним. Вначале это было невозможно. Франкмасоны, тайным вождем которых он был и наставником, позаботились хорошенько скрыть его следы, в то время как он подготавливал в России нечто вроде революции. После многих бесплодных попыток я решил прекратить поиски, осознавая их безнадежность. Но мысль о возвращении во Францию была для меня невыносима, и я решил вернуться на родину, жить там в уединении и вспоминать о странном человеке, которого почитал утраченным. Я вернулся в Эккернафферде, в свой дом, покинутый двадцать четыре года назад. Это было в 1764 году. В Дании по-прежнему царил мир; одна только армия сражалась в Мекленбурге, под командой молодого человека, обещавшего сделаться великим полководцем — ландграфа Карла Гессен-Кассельского, которого король Фридрих V вскоре после того наименовал своим генерал-лейтенантом. Случай заставил меня представиться

его высочеству, во время пребывания его в Эккернафферде. И судите же, сударь, о моей радости, когда я увидел сидящим по правую руку принца человека, которого я разыскивал всюду и с которым отчаялся встретиться когда-либо. Сен-Жермен в то время носил имя Цароги. Он делил свою жизнь между ландграфом и многими другими особами, которым оказывал помощь своими таинственными познаниями; среди них были граф Орлов и маркграф Карл-Александр Анспах. Но мои злоключения еще не кончились, и слишком часто бывал лишен существа, с часу на час делавшегося для меня все более драгоценным. В конце концов, однако ж, мой наставник перестал странствовать. Карл де Гессен Кассельский получил жезл из рук нового короля, Христиана VII. И хотя снова началась война между Норвегией и Швецией, досуги ландграфа-маршала стали более частыми. Он употреблял их на занятия алхимией, при которых мой учитель и я обычно присутствовали. Так протекали пятнадцать лет, настолько же исполненных серьезного и спокойного счастья для меня, насколько безумны-веселы были мои пятнадцать лет во Франции. Ужасная катастрофа положила конец этому долгому и совершенному счастью. Я говорил уже вам о молодости, которую мой наставник сумел сохранить в своих чертах, несмотря на свой неизмеримый возраст. Эта молодость вдруг иссякла: я заметил это, сначала не осмеливаясь ничего сказать. Но вскоре обстоятельства приняли такой оборот, что я не мог выносить более, и решил броситься к ногам графа, умоляя его позаботиться о своем здоровье и применить для того свои познания. Он ласково поднял меня. «Гаспар, — сказал он мне торжественным голосом, который оледенил мою кровь. — Гаспар, знай, что есть злые силы, против которых бессильно даже мое знание. Ничто не исцелит тайной раны, от которой мое сердце обливается кровью, и ничто не изменит моего решения не пережить этого». Говоря так, он открыл усыпанный драгоценными камнями медальон, и я увидал в этом медальоне локон белокурых волос. «Гаспар, — сказал мне граф, — я умираю оттого, что хотел увековечить не зрелый возраст мой, но мою молодость. Ес-

ли б я был мудрецом, я должен был бы при помощи нескольких морщин и седых волос предохранить от опасностей любви смертную оболочку, которую таким образом я сделал бы в полном смысле бессмертной. Когда моя Тайна станет твоею, запомни этот урок и будь моим наследником, достойным быть им». Семь дней спустя он скончался, завещав ландграфу свои книги, манускрипты, талисманы, в которых этот достойный человек ничего не мог понять, а мне — то, что он называл «Тайной».

Господин офицер, к этой-то именно Тайне, моему законному наследству, мы и подходим теперь. Еще раз извините меня за многословие. Я не мог обойтись без него, рискуя быть непонятым; но в настоящее время ничто не препятствует мне удовлетворить вашу просьбу, изъяснив вам правдиво то, что мой сын, внук и я делаем здесь с госпожою де***, вашей подругой.

XVIII

Еще раз маркиз Гаспар открыл свою табакерку. Но он не закрыл ее более и не нюхал, держа открытою на ладони.

— Сударь, — снова начал он, — я не претендую на звание ученого, так же, как, полагаю, и вы. Тем не менее, мы знаем столько же, как и все другие, о природе загадочного явления, называемого Жизнью. Я говорю «столько же»; это не слишком много, ибо, поистине, никто не знает, не знал и не будет знать никогда, что есть «жизнь». Нам доступно, однако ж, познание некоторых явлений в жизни живого существа, исчезающих, когда наступает смерть. Мой наставник, граф Сен-Жермен, знал эту истину. Уверенный в правильности своего пути, он никогда не уклонялся от него, хотя и ступал по этому пути семимильными шагами. Он никогда не был ни магом, ни волшебником, как именovala его глупая чернь, но был одарен разумом философа, опытом и гением. Ничего более! Тайна, которую он

открыл и которую он завещал мне, Тайна Долголетия — основана исключительно на глубоком и точном познании Природы.

Я не собираюсь, сударь, изъяснять вам эту тайну с точностью, с какой математики доказывают свои теоремы. Мой наставник, быть может, сумел бы это сделать. Я слишком невежествен, чтобы рискнуть на это. Да и не все ли равно? Вы желаете знать, не правда ли, какую роль во всем этом играет госпожа де***, ваша подруга?

Мы к этому приближаемся.

Как живые существа, сударь, мы состоим из элементов, атомов или клеток, которые рождаются в нас, живут в нас, умирают, замещаясь другими подобными же элементами, рожденными от прежних. Проницательные умы полагают, что наше сегодняшнее тело не содержит более ни единой частицы той субстанции, из которой оно состояло десять лет назад. Эта непрерывная трансформация, это постоянное возобновление наше и составляет одно из явлений, характеризующих жизнь, о котором мы только что говорили.

Возобновление это совершается неодинаково у всех существ и во всякий период их существования. У ребенка, который растет, каждый отмирающий атом уступает место двум новым. У старика, напротив, много элементов отмирает, и немногие являются им на смену. Наконец, у умирающего, близкого к могиле, клетки перестают замещаться.

Размышляя об этой истине, мой наставник открыл Тайну, благодаря которой я имею честь беседовать с вами, вместо того, чтобы покоиться, как мне подобало бы, на каком-нибудь кладбище, уже достаточно попорченным червями.

Я не колебался бы открыть вам эту Тайну, если б даже она была ужасной. Нужно ли повторять, сударь, что всякое желание ваше здесь должно быть исполнено, кроме одного лишь, — не этого? Так вот. Мы стареем и умираем потому, что наши клетки утратили способность производить новые клетки, которые продолжали бы нашу жизнь, потому что тело наше сделалось неспособным к этому восстановлению, которое молодой организм выполняет без всякого усилия. Прекрасно. Сударь, почему же нам не возложить

того, что стало слишком тягостным для нашей старой плоти, на другую плоть, молодую и сильную, которая свободно сможет работать за двоих, и даже не заметит этой добавочной работы?

Я не знаю, какие разумные возражения можно было бы сделать против этого. Так думал мой наставник. Я думаю так же, как он. Мой сын и мой внук тоже. Без всякого неблагопристойного чванства, я полагаю, что следует считаться с единогласным решением, когда четверо судей стары и, следовательно, по мудрости стоят не четырех, но сорока. Я надеюсь, что вы согласитесь с этим.

Госпожа де***, ваша подруга, находится здесь добровольно... или почти добровольно, чтобы любезно работать для нашей пользы и омолаживать наши старые организмы, неспособные более омолаживаться сами.

В руке маркиза Гаспара открытая табакерка вдруг хлопнулась с легким сухим стуком, хотя маркиз Гаспар позабыло том, что вы втянуть в себя понюшку табаку.

Я все еще сидел против моих хозяев. Казалось, я был свободен: никаких пут, никаких оков. Казалось, я мог встать, идти, наносить удары, — «казалось»... На самом деле, неодолимая сила налегла страшной тяжестью на все мои члены; я был парализован в самом полном, в самом жестком смысле слова. Для спасения моей жизни, для спасения моей души, для спасения женщины, которую я любил, я не мог бы, по велению даже самого Бога, поднять хотя бы один палец, не мог бы склонить ресницы...

Маркиз Гаспар имел возможность спокойно закончить свой ужасный ответ. И ужас, пронизывавший насквозь, все мои фибры, не отражался на моем окаменевшем лице.

Хищник молчал. И минутами мне казалось, что я слышу в воздухе взмахи крыльев, — крыльев вампира.

Внезапно маркиз Гаспар заговорил снова.

— Господин офицер, я полагаю, что ваше любопытство удовлетворено. Если, однако ж, в вас остается какое-либо сомнение или неясность, я готов их рассеять. Мое скром-

ное мнение таково, что лучше осветить все вопросы, ничего не оставляя в тени. Поэтому позвольте мне дополнить вышесказанное разъяснением некоторых подробностей, и удостоьте извинить мое многословие. Впрочем, если оно вам докучает, вы имеете полную возможность избавиться от него: спите. В противность тому, что я говорил только что, дальнейшее не является необходимым для правильного понимания дела.

Однако, я все же решусь продолжать. Госпожа де***, ваша подруга, находится здесь — теперь вы это знаете, — чтобы работать в нашу пользу, возобновлять нас и омолаживать. Быть может, принимая во внимание любовь вашу к этой даме, вы пожелали бы узнать подробнее об ее работе, столь чудесной, и из которой мы извлекаем столь большую пользу? Я ни за что не хотел бы скрывать от вас это.

Господин офицер, я не буду говорить о том, каким образом во все времена люди, преимущественно врачи, пытались «переливать» молодую жизнь в старое тело. Я говорю «переливать», разумея тот грубый опыт, который повторялся столько раз без успеха и который состоит в переливании крови сильного человека в артерии человека ослабленного. Все это глупости и варварство. Само собой, мой наставник не пользовался для достижения своих целей никакими медицинскими приемами. Он считал себя химиком, даже алхимиком, но не ветеринаром, ни цирюльником. Он предпочтительнее искал в глубине своих реторт, чем на острие грубого скальпеля. И он нашел.

Время его открытия мне неизвестно. Но нет сомнения, что граф Сен-Жермен жил несколько столетий, и это было бы необъяснимо, если б Тайна Долголетия не была открыта очень давно. Тайна эта имеет некоторое сходство с новейшими применениями электричества и магнетизма. Вы видите, сударь, насколько этот великий человек опередил свое время. Если я говорю об электричестве, не думайте, что мой наставник занимался тем, что бил кошачью кожу или заставлял прыгать лягушек. В его руках был философский камень, и он не нуждался в ртути для того, чтобы позолотить или посеребрить что-либо. Часто он развлекался,

переноса, словно по волшебству, материю одного металлического предмета на другой предмет, из иного металла. Однажды я видел своими глазами, как он таинственным образом перенес из одной комнаты в другую, через плотные стены и запертые двери, свежесрезанную ветвь розового куста с двумя развернувшимися цветками, бутон и листьями. Я оцепенел от изумления; но граф объяснил мне, что в этом не было ничего удивительного, ибо всякая субстанция может быть временно разложена на мельчайшие атомы, которые легко проходят сквозь такие грубые препятствия, как двери из дерева и стены из камня. «Настанет время, — утверждал он, — когда материя и движения, которые, впрочем, суть едины, “экстерриоризируются” так же легко, как уже теперь экстерриоризируются запахи, звуки и свет».

Сударь, я обидел бы вас, если б сомневался, что вы уже поняли, каким образом была открыта Тайна Долголетия.

Подобно тому, как кусок чистого золота, омытый в соответствующей жидкости и пронизанный электрическим током должной силы, мало-помалу распадается и переносит часть своего металла на расплавленную массу иного рода, расположенную так, чтобы она могла служить приемником, так и живое существо, помещенное в благоприятную среду и подвергнутое действию магнетического тока, отдает часть своих клеток, перенося их на другое существо, находящееся в состоянии готовности их принять и ассимилировать. Вот, сударь, весь «процесс», говоря жаргоном современных алхимиков.

Вы видите, я не скрыл от вас ничего. И я даже сообщу вам последние подробности. Благоприятной средой для операции может служить какая угодно комната, лишь бы она была запертой, полутемной и притом расположенной с севера на юг: это нужно, чтобы содействовать планетарной эманации на магнетический ток, который есть не что иное, как ток, естественно исходящий от всякого сильного, исполненного воли человека, когда он этого хочет.

Теперь, господин офицер, вы, мне кажется, знаете все, что желали знать.

Неодолимая сила, привязывавшая меня к этому креслу, парализовала меня до языка, почти до мозга. Мое сознание было ясным, так же, как моя мысль, как мое отчаяние. Но воля моя не существовала более, и даже мой гнев — гнев против этих кровавых злодеев, убийц моей возлюбленной, колебался и угасал, бессильный, неясный, обращенный в пар.

Между тем маркиз, сделав паузу, начал говорить снова, все с той же преувеличенной и зловещей учтивостью.

— Господин офицер, рискуя быть надоедливым, я снова вернусь к тому, о чем я уже говорил несколько раз: под этой кровлей вы не встретите отказа ни в чем, кроме одной единственной вещи. Прежде чем мы перейдем к этой вещи, в которой нам придется, к крайнему сожалению нашему, вам отказать, прошу вас, спросите себя самого и изложите нам подробно ваши желания. Честное слово дворянина, они будут исполнены, поскольку это будет зависеть от нас.

И он замолчал, как бы предоставляя мне слово.

В то время, как он заканчивал свою последнюю фразу, странное и сложное ощущение заставило меня задрожать. Оно началось с того, что мурашки забегали по всем моим венам. Кровь моя циркулировала быстрее, и мое сердце билось более сильно... Я почувствовал, что неведомая сила медленно начала ослабевать, и тяжесть, тяготевшая на моих членах, как будто начала подниматься. Это еще не была свобода. Но это не было ни полное рабство, ни совершенный паралич. И когда маркиз Гаспар повторил, формулируя более точно свой вопрос:

— Сударь, чего бы вы хотели?

Я получил возможность отвечать.

И я отвечал, я отвечал от всей глубины своего сердца:

— Я не хочу ничего. Убейте меня, как вы убили женщину, которую я люблю. Убейте меня скорее! Я готов.

В ответ на мои слова маркиз Гаспар разразился своим пронзительным, визгливым смехом. И в то же мгновение, внезапно, таинственная тяжесть налегла опять на мои плечи, и неодолимая сила снова сжала мои мускулы и нервы. Я снова был связан, скован, и мой онемевший язык недвижно лежал между зубами.

Потом, бессильный, бессильный духом и телом, я услышал насмешливый голос врага-победителя:

— О, господин офицер! Что вы говорите? Ей-богу! Неужели я так плохо изъяснился и неужели вы полагаете, что имеете дело с разбойником Картушем или ему подобными?

Он пожал плечами, засмеялся снова и сказал, открывая свою табакерку слегка нетерпеливым жестом:

— Ба! Я вижу, что это так и что дальнейшие объяснения не будут излишними. Господин офицер, вы видите перед собой трех самых достойных людей в королевстве. Моя рука никогда не была запятнана ни единой каплей крови. Мой сын Франсуа, родившийся в 1770 году, делал свои первые шаги в свете во время вашей Революции; философ в духе Жан-Жака, он навсегда получил отвращение к гильотине и палачам. Что касается моего внука, он появился на свет, чтобы стать одним из «детей века», который пером Мюссе поведал миру о своей томной усталости и разочарованности. Я полагаю, такого человека вы не сочтете за каннибала? Сударь, литература — один из пороков нашего времени; и она причиняет неустойчивым умам много зла. В данном случае не может быть и речи об убийстве кого бы то ни было, и госпожи де*** не более, чем вас. Граф Франсуа, который вдается несколько в морализирование, даже в проповедничество, докажет вам, если вы его спросите, что не подобает людям, владеющим Тайной Долголетия, поистине Людям Живым, сокращать и без того короткую жизнь простых смертных. Благодарение Богу! Тайна не требует ничего подобного, исключая случаев, не идущих в счет по своей редкости. Если я продолжил свой век на доброе столетие, будьте уверены, что это столетие не сократило ничьей жизни. Что ни одна из молодых птичек обоего по-

ла, побывав в нашей лаборатории, не оставила в ней даже несколько перышек — этого я не решусь утверждать. Примите же однако во внимание, что один день жизни человека старого и мудрого, каков я, стоит многого и заслуживает, чтобы кое-что было принесено ему в жертву. Но случаи таких жертв, повторяю, совершенно исключительны, и наши «работники Жизни», выполнив свой плодотворный труд, возвращаются к себе здоровыми, невредимыми и веселыми. Госпожа де***, ваша подруга, вовсе не так больна, как вы думаете, и завтра вечером, когда она вернется к своим пенатам, никому из близких не придет и в голову заметить, что она еще раз возвратилась из... Боле, облегченной в весе на несколько фунтов, — несколько фунтов крови, костей и мяса, которые мы извлекли из ее юной субстанции. Вы видите, сударь, насколько преувеличено ваше негодование. Теперь я заключаю из ваших слов, что вы желаете скорейшего окончания вашего Приключения. Хорошо! Сударь, не угодно ли будет вам обсудить этот вопрос вместе с нами?

Во второй раз сила, державшая меня в плену, в одно мгновение ослабла: в мгновение, когда я кивком головы утвердительно отвечал на вопрос маркиза Гаспара.

XXI

Маркиз Гаспар откинулся в своем кресле, и на каждой из ручек золоченого дерева я видел маленькую сухую руку, пергаментная кожа которой, очень холеная, блестела как старая слоновая кость. Подражая своему отцу и деду, граф Франсуа и виконт Антуан также откинулись назад. Их руки, более широкие и мясистые, также опирались на скульптурные листья аканта, обхватывая их пальцами и ладонью. И мне казалось, что меня так же схватили и сжимают эти когти, неумолимые острия которых уже вонзились в мое тело.

Маркиз заговорил снова:

— Господин офицер, я почитаю вас за человека разумного и не буду обижать вас предположением, что вы еще не поняли смысла оговорки, которую я всякий раз вводил в свое предложение повиноваться каждому приказанию вашему. Теперь пришло время — хотя мне и очень неприятно — коснуться этой оговорки. Весь наш дом к вашим услугам, сударь; но вы понимаете сами; зная то, что вы узнали, вы никогда не сможете из него выйти. Вам не будет отказа ни в чем, ни в чем, кроме одной только свободы.

Поверьте, сударь, мы крайне опечалены, что должны удерживать вас здесь против воли. Но что делать? По чистой совести, мы не можем быть ответственными за те неудобства, которые являются для вас результатом вашего появления под нашим кровом. Случай и ваше любопытство — конечно, извинительное! — всему виною. Надо было, чтобы, против тысячи вероятных шансов, вы увидели вчера вечером то, чего ни один Смертный Человек не должен видеть: госпожу де*** в ущелье Мор де Готье. Надо было, чтобы, преследуя эту даму, вы очутились в опасной близости к нашему убежищу. Это решило все. Зная, что мы существуем, зная, где мы живем, зная, какого рода визиты нам иногда приходится принимать, сударь, вы знаете слишком много. Тайна действительна только при условии, если она остается Тайной. Она должна быть исключительным достоянием нескольких Людей Живых, и толпа Смертных Людей не должна подозревать о ее существовании. Она аристократична по своей природе. Она требует подчинения многочисленных посторонних существ, которые терпят усталость, страдание и опасности в интересах нескольких Избранных. Предрассудки нынешнего века плохо согласовались бы с таким пренебрежением ко всякой человеческой щепетильности. Ваши политические деятели, льстецы и прислужники черни, разразились бы криками негодования, узнав, что стасемидесятипятилетний старик позволяет себе не умирать, наперекор всем принципам равенства. Вот почему, сударь, мы, хотя и самые почтенные люди в королевстве, как я сейчас указал с полным правом, вынуждены скрываться, подобно шайке разбойников, в ди-

кой местности, за преградою хаоса скал, пропастей и иных препятствий, внушающих людям ужас.

Таким образом, вы поймете наше затруднение. Вы ворвались к нам, сударь, точно оса в паутину. И если б позволить вам вернуться туда, откуда вы пришли, унося с собою разорванные лохмотья нашей Тайны, для нас это кончилось бы очень плохо.

Благоволите только принять уважение, ценою каких трудов и жертв удавалось нам донныне обеспечивать себе во всех странах нашу жизнь и независимость. Сколько беспокойства, сколько скитаний! Вы не имеете понятия об участи Вечного Жида, которая была нашей участью. И если дело шло только об одних скитаниях... Господин офицер, когда скончался мой наставник, я еще не был стариком, а Франсуа был еще мальчик. Его мать, на которой я женился за двадцать лет перед тем во Франции, была еще женщиной молодой, красивой и умной настолько, насколько нужно для счастья мужа: ни много, ни слишком мало. Я нежно любил ее и радовался вначале при мысли приобщить мою дорогую подругу к новой жизни, которая меня ожидала. Но потом я подумал: разумно ли было бы вверить женщине Тайну, которая должна была сделать меня вторым Сен-Жерменом, быть может, еще более старым и мудрым? Мог ли я, полагаясь на благоразумие и скромность женщины, рисковать этой ставкой, выигрыш которой делал нас бессмертными, но которой одно неосторожное слово грозило гибелью? Увы! Я не мог сделать этого. И я подвергнул себя, сударь, жестокому испытанию, дав умереть на моих глазах матери моего единственного сына, хотя мне возможно было продлить навсегда ее улыбку и ласки. И двадцать лет спустя мой сын также принес в жертву свою жену, ибо Тайна Долголетия не должна была перейти в женскую линию. Вот, сударь, чем вы можете измерить значение этой роковой Тайны, которой было принесено в жертву два существования, не менее ценных, чем ваше. Я говорю: «два существования», чтобы не увеличить неблагоразумно цифру; но, быть может, их было больше... Вы только-то видели госпожу де*** бледною и разбитою: это

не пустяки — отдать другим восемь или десять фунтов живой материи... И нас порой огорчали случаи... о, редкие... очень редкие... Но все равно: вы видите, что выкуп за наши жизни тяжел, хотя капризная судьба пожелала возложить его не на нас, а на других... Увы! Сударь, не удивляйтесь, если и вам, в свою очередь, приходится уплачивать часть этого выкупа... Да, вам нужно платить, сударь. И я не сомневаюсь в вашей щедрости порядочного человека. Хотя я еще не знаю, в какой монете мы могли бы получить с вас...

Он замолчал и посмотрел поочередно на своего сына и внука, которые один за другим покачали головой. Прошло две-три минуты.

— Сударь, — снова заговорил вдруг маркиз, — если бы мы были в 1808 году, а не в 1908, дело было проще. Ибо знайте: не в первый раз нам приходится, к сожалению, иметь дело с непрошенным гостем, живым или мертвым. Простите, что я вас называл этим именем, точным, хотя и невежливым. Я вспоминаю одного беднягу-неаполитанца, который очень некстати умер в нашем доме, восемьдесят лет назад. Мы жили в то время в Неаполе. Я нажил бы много хлопот с королевской полицией, если бы господам собирам пришла фантазия доискиваться, как и почему человек этот умер столь далеко от собственного жилища. Как раз в то время на рейде стояла мальтийская фелюга. Мы взошли на нее, прежде чем кто-либо в городе начал беспокоиться по поводу этого исчезновения. С Мальты мы отправились в Кадис, и из Кадиса в Севилью. Увы! Земля сделалась очень маленькой за последнее столетие. В особенности телеграф чрезвычайно усложнил наше существование. Сударь, я не сомневаюсь в том, что с первыми лучами зари официальные депеши побегут от столба к столбу, сообщая о вашем злополучном приключении с лошадью и таинственном неуспехе вашей миссии. Притом, неудобные французские законы вынудили меня сделать по прибытии в эту страну декларацию в ваши магистраты, для того, чтобы иметь возможность легально пользоваться этой хижинкой. Эти люди знают, кто я, или, по крайней мере, думают, что

знают. Нет сомнения, что если б вы попросту исчезли из этого мира, полчища полицейских явились бы разыскивать вас, вплоть до моих шкафов. Честное слово, мы в осинном гнезде, без всякого видимого выхода: мы не можем вас выпустить отсюда, живого и свободного, и также не можем держать вас здесь, пленником или мертвым...

Он снова замолчал, склонил голову на бок и, выпятив губу, засмеялся тем же пронзительным, дребезжащим смехом.

— Мне кажется, сударь, вы очень удивлены. Быть может, вы вспоминаете о вашей подруге, госпоже де***, вспоминаете, что она приходит сюда, уходит и снова возвращается и что много других «работников Жизни» поступают так же без всякого неудобства. О, да! Но вообразите себе, что никто из этих людей не знал о нашей Тайне и что каждый из них выполнял свою филантропическую повинность, совершенно ее не замечая. Сударь, наша склонность к уединению заставляет нас во всех странах выбирать для жительства места самые удаленные. Путь до нашей двери далек, и наши посетители могли бы посетовать на это, если б мы заранее не усыпляли их гипнотическим сном, чтобы никто из них не мог поставить нам в упрек своей усталости: каждый раз, как мы на пятнадцать или двадцать лет раскидываем наш шатер в какой-нибудь гостеприимной земле, мы намечаем прежде всегда самых сильных и самых здоровых среди обитателей, чтобы потом избрать из них наиболее независимых по образу жизни и по обычаям. И только они становятся нашими «работниками Жизни». Я имею возможность успокоить вашу вероятную ревность: госпожа де*** была избрана, верьте, не за свои прекрасные глаза, хотя бы и самые лучезарные в мире, но ради удобств, предоставляемых тем, что супруг ее постоянно привязан к своему арсеналу, а также уединенностью ее вилы, из которой можно часто пропадать, не возбуждая этим внимания. Надеюсь, сударь, что этот вопрос теперь для вас выяснен.

Я хотел бы найти выход из вашего приключения. Выяснено, что вы не можете уйти отсюда живым и свободным и что вы не можете также оставаться здесь пленником

или мертвым. Без сомнения, мы могли бы убить вас, а потом вынести куда-нибудь в такое место, что подозрение нас не коснулось бы. Но, хотя вы и подумали это, — мы не убийцы, сударь. Вот почему мы вас не убьем, как бы дорого это нам ни стоило.

Решено окончательно, что мы вас не убьем. И проблема представляется мне настолько сложной, что необходимо сначала выслушать мнение каждого, и узнать ваше.

И маркиз, еще раз предложив свою табакерку сыну и внуку, понюхал сам и с наслаждением высморкался в свой носовой платок.

XXII

Один за другим, по любезному знаку их отца и деда, граф и виконт заговорили. А я так долго слышал тонкий фальцет маркиза, что грубый тембр других голосов меня заставил вздрогнуть, как ни парализован я был.

— Сударь, — начал граф Франсуа, обращаясь к маркизу Гаспару, — прежде всего, вы правы во всех отношениях и особенно в том, что касается опасности, которой подвергает нас пребывание здесь господина капитана. Опасность эта усугубляется тем, что госпожа де*** также гостит у нас сегодня. Не может быть речи о том, чтобы отослать ее отсюда ранее следующей ночи, преждевременно подвергнув усталости возвращения: слабость ее еще чересчур велика, и ни вы, ни я не захотели бы рисковать жизнью невинного, даже при самых худших обстоятельствах. Между тем, завтра же правительство, к которому этот господин слишком близок, отправит в окрестности многочисленных солдат. И, если б такое несчастье случилось, нам бы пришлось скрывать двоих вместо одного. Двойная опасность, если вы со мной согласитесь.

— Совершенно верно, — подтвердил маркиз.

Граф поклонился, потом продолжал:

— В данном случае трудно оставаться добродетельным, но зато есть преступные или вероломные средства, которые могли бы нас вывести из затруднения. В Тулоне, например, только немногие не знают о близости госпожи де*** и капитана. Нам легко было бы обратить против любовницы подозрение, вызванное исчезновением любовника. Если завтра сбирь, разыскивая его, найдут ее, и найдут в Мор де Готье, подле убитой лошади, являющейся бесспорно следом... Ничего больше не нужно. Тотчас же распространится легенда о любовном злодеянии, об «убийстве из ревности», говоря жаргоном газет, убийстве, которое избавит нас от подозрений. Ибо госпожа де***, очевидно, не смогла бы защищаться против такого обвинения, которое сбило бы прежде всего с толку ее самое... Никогда эта несчастная не сумела бы объяснить ни судьям, ни даже себе самой, своего пребывания в таких невероятных местах.

Виконт Антуан поднял голову.

— Такое беззаконие, варварское и противное чести, запятнало бы нас хуже, чем кровью, сударь! — позором!

Он говорил чрезвычайно горячо. Граф обернулся к нему и жестом выразил свое одобрение.

— Само собою, ни один честный человек, старающийся жить в согласии с Природой, никогда не допустит, чтобы невинность подвергалась несправедливому, незаслуженному наказанию. Надо, однако, иметь в виду, что в данном случае судьи не могли бы осудить госпожу де*** на основании подозрений; и отсутствие всяких улик в преступлении, только предполагаемом...

Виконт прервал его.

— Судьи, я полагаю, оправдали бы ее, сударь. Но общество не оправдало бы, и женщина, решившаяся жить согласно со своим сердцем, подверглась бы по нашей вине позору всеобщей и несправедливой вражды. Ее семейное счастье было бы, во всяком случае, разбито, и ее домашний очаг разрушен.

— Это правда, — сказал граф.

Внезапно послышался дребезжащий смех маркиза.

— Полно, господа! Ради бога, довольно ламентаций! Опять вы предаетесь вашим неразумным заботам о вдовах и сиротах... Увы! Перестанете ли вы когда-нибудь изрекать эти громкие слова — «Человечество», «Братство», «Любовь» и «Природа»? Неужели вы не сознаете, насколько наша безопасность, самая жизнь наша, заслуживает предпочтения пред карточным домиком супружеского счастья «доброй и верной супруги», любовные связи которой давно сделались притчей на устах всех? Решение, которое вы предлагаете, не совсем неприемлемо. Я, однако же, не считаю его лучшим и полагаю, что прежде, чем выбрать, предпочтительнее выслушать всех. Антуан, теперь ваша очередь. Есть у вас какая-нибудь полезная мысль?

Виконт колебался.

— Сударь, — сказал он, наконец, — не заключается ли наилучшее решение в нашей магнетической силе, и особенно в вашей, столь таинственно могучей? Мое мнение, что в конце концов возможно отпустить сейчас же господина капитана, по виду свободного, но, однако, наложив на него такой запрет, чтобы каждое из его слов было отныне продиктовано нами? Несколько дней пройдут таким образом. Потом...

Маркиз иронически засмеялся.

— Потом? — спросил он.

Но виконт не закончил своей мысли. Маркиз договорил за него.

— Потом — ничего. Ибо я совершенно не вижу развязки этой комедии. Неужели вы думаете, что мы могли бы долго выдержать это напряжение, — сверхчеловеческое, хотя бы и разделенное между троими; влиять так без прерыва и отдыха и *usque ad vitam aeternam** на волю этого господина, здорового духом и телом, сильного и вдобавок молодого? Если б еще дело шло о дряхлом старике! Но этот господин...

Безумие!.. Чистейшее безумие... Найдите что-нибудь лучше, Антуан. Да постарайтесь же, господа!..

* Здесь: «всю жизнь вечную», «во веки веков» (лат.). (Прим. изд.).

Но граф и виконт не прибавили больше ни слова. И дребезжащий пронзительный смех маркиза раздавался один среди молчания.

XXIII

Внезапно мои онемевшие артерии снова начали биться от более сильной пульсации. Я снова почувствовал, как мурашки забегали во всех моих членах, и сила, которая меня парализовала, снова начала ослабевать. Но в то время, как перед этим свобода была возвращена мне лишь наполовину, и всего на несколько секунд, на этот раз я почувствовал себя свободным с головы до ног, совершенно свободным, и это ощущение свободы не прекращалось. В недоумении я поднял голову. На мои глаза был устремлен взгляд маркиза, но никакого веления не исходило более от этого взгляда. Внезапно меня пронизало искушение: вскочить, сделать прыжок, вступить в борьбу, хотя и безоружным, или, еще лучше, бежать... Но в ту же минуту я невольно пожал плечами. В самом деле, зачем? Более быстрый, чем всякое бегство или прыжок, неумолимый взгляд этого человека оставил бы меня, — поразил бы, как удар грома, — я это хорошо знал. И если он освободил мои незримые путы, как расстегивают ручные кандалы у преступника, когда дверь заперта, — то, очевидно, я был пленником по-прежнему, и моя сила, хотя и освобожденная, отнюдь не казалась страшной моим врагам.

И я не двинулся с места.

Тогда маркиз снова заговорил, обращаясь ко мне, чрезвычайно мягким тоном:

— Господин офицер, — сказал он, — бьюсь об заклад, что вы теперь более благоразумны и отдаете себе ясный отчет в том, какого сорта мы люди; почтенные люди, во всем равные вам, только более старые, долгая жизнь которых приобрела высокую цену. Вопрос заключается в том, чтобы прежде всего сохранить эту нашу жизнь, чудесную и по-

чти бессмертную, а затем сохранить, насколько возможно, и вашу жизнь, как мы сохраняем ее другим мужчинам и женщинам, работающим на нас. Вы отдадите нам справедливость, сударь, что мы с вами хорошо обращаемся; никаких насилий, никакой жестокости, — несмотря на то, что вы причинили нам довольно жестокую обиду. Мы намерены рассматривать вас не как врага, а как союзника. В конце концов, мы с вами преследуем одну и ту же цель. Поэтому позвольте просить вас принять участие в нашем совете. Вы слышали все, что здесь говорилось. К сожалению, никакого решения принято не было. Вы сами не видите ли какого-нибудь средства вывести нас из тупика?

О, вы, читающие эти строки, которые я пишу; вы, разбигающие терпеливо бледные черты этого карандаша, уже исписанного почти до конца — будьте мне свидетелями, что Событие было ужасно, и ужас его переходил за пределы человеческого, за пределы жизни. В течение всей этой ночи, — моей последней ночи, — я действительно во мраке кошмара. И если мне пришлось, в самой глубине этой черной пропасти, забыть на мгновение о том, что я — человек, если я мог на мгновение изменить делу Людей, Людей Смертных, к выгоде хищников, к выгоде Людей Живых, — о, вы, читающие это признание, измерьте мою слабость мерою вашей слабости, и не осуждайте меня!

Да, я это сделал. И я это сделал бесцельно...

Когда маркиз Гаспар повторил еще раз свой вопрос: «Вы сами, сударь, не видите ли какого-нибудь средства вывести нас из тупика?», я отвечал, да, я, Андре Нарси, я отвечал, опустив голову и с пылающими щеками:

— Сударь, отворите мне вашу дверь и дайте мне свободно уйти, мне и госпоже де***, моей подруге. Дайте мне ваше слово дворянина, что никогда более эта дама не войдет под ваш кров. И я вам даю мое слово солдата, что я не скажу ни слова кому бы то ни было, мужчине, женщине, франкмасону или исповеднику о том, что я видел и слышал здесь, ни даже о вашем существовании.

Тотчас же маркиз Гаспар встал.

— Сударь, — сказал он, делая мне приветственный жест рукой, — в добрый час! Вот что я называю — говорить, как следует. Ваше предложение мне очень нравится, и я хочу видеть в нем по крайней мере начало нашего соглашения и успеха, который за ним последует.

Он снова сел, вынул свою табакерку, подумал, потом, покачав головой, сказал:

— Увы, мне тяжело отказываться от такого великодушного предложения... Не думайте, чтобы я хоть в малейшей мере не доверял вашему слову солдата. Я, как и вы, приравниваю его к моему слову дворянина; то и другое суть монеты металла, более твердого и более чистого, чем золото и сталь. Я вам верю, клянусь вам! Но, ради бога, сударь, подумали ли вы... Тайна, бремя которой вы столь великодушно на себя принимаете, тяжела. Одного неосторожного слова достаточно, чтобы все рухнуло. Кто, кроме только немого, поручился бы, что сможет всегда удержаться от такого слова? Сударь, скажите откровенно: не грезите ли вы иногда вслух? Всегда ли вы спите один? Не бывает ли у вас порой лихорадочного бреда? Этого достаточно... Одна лишь добрая воля не имеет значения в таких серьезных обстоятельствах. И не с целью обидеть вас приходится отклонить предложенное обещание, опасное даже для чести того, кто решился бы его дать.

Он очень серьезно поклонился мне. Потом, переменив тон, сказал:

— Но какое бы решение вы не приняли, сначала нужно знать, не ошибаемся ли мы в том, что опасность неизбежна? Господин офицер, никто лучше вас не сможет изъяснить нам это. Скажите же: ошиблись мы или были правы, предполагая, что в это же утро полицейские начнут шнырять кругом в поисках вас?

Я молча наклонил голову.

— А! — воскликнул он озабоченно.

Он размышлял.

— Ваша лошадь, — снова заговорил он, — осталась лежать, мне сказали, в Мор де Готье?

Я еще раз наклонил голову.

Он продолжал вполголоса, как бы разговаривая сам с собою:

— Поиски начнутся оттуда. Нужно, чтобы они были непродолжительны. Ближайший выход был бы самым лучшим...

Он открыл свою табакерку и машинально разминал пальцами коричневый порошок.

— Без сомнения, опасность была бы тем меньшей, чем меньше она длилась бы. А эти люди будут искать долго, если только...

Он посмотрел на меня, потом покачал головой.

— Если только они не найдут сразу. Но что они могли бы найти? Очевидно, вас и никого другого. Вас, — живого или мертвого... мертвого предпочтительнее.

Я подумал, что он возвращается к мысли об убийстве. Я был вполне готов к этому.

— Когда вам будет угодно, — сказал я холодно.

Но он нахмурил брови.

— Сударь, — сказал он очень сухо, — вам, кажется, было сказано, что мы вас не убьем, как бы это нам дорого ни стоило?

Он пожал плечами, потом сказал, обращаясь к графу и виконту:

— Таков, мне кажется, единственный выход: искусно созданная обстановка, способная обмануть полицейских, доверчивых и тупоумных. Это можно легко устроить. Нужен только труп в глубине пропасти, довольно далеко отсюда и поблизости от Мор де Готье.

Он оставался задумчивым, с глазами, устремленными в землю. Виконт возразил:

— Между тем, этого трупа у нас нет, сударь. Где же найти его? Не думаете ли вы сломать ограду какого-нибудь кладбища?..

Маркиз поднял голову и засмеялся.

— Антуан!.. У вас романтическое воображение. Конечно! Представьте себе только нас троих, похищающих безлунной ночью из старых гробниц их содержимое... Ваша идея нелепа. Неужели вы думаете, что полицейские, как

бы глупы они ни были, примут за чистую монету первый попавшийся скелет, и сейчас же составят акт о смерти, что в конце концов является нашей целью? В глазах всего мира этот господин должен умереть, и умереть смертью наиболее простой и наименее таинственной. Наша безопасность, наше спокойствие требуют этого.

Он опять стал серьезным, почти мрачным. Он пристально смотрел на меня.

— Мне очень обидно за вас, сударь, потому что я создаю, насколько тяжело потерять свое имя, свою личность, — и потому, что именно эта участь вас ожидает. Вы останетесь жить, это я вам сказал и повторяю еще раз. Но, тем не менее, на каком-нибудь кладбище будет ваш мавзолей, с вашей эпитафией на нем и вашими бренными останками под ним. Нечего делать, вам приходится этому покориться.

Дрожь пробежала у меня по спине. Умереть я был готов. Но я начинал понимать, что дело шло не о смерти, — дело шло о чем-то другом, может быть, худшем.

Виконт Антуан возразил еще раз:

— Но эти останки... Где же?...

Маркиз резким движением руки оборвал его фразу.

— Здесь, — сказал он.

XXIV

В наступившей тишине я слышал ускоренное биение своего сердца и чувствовал, что на моих висках выступили капли холодного пота. Мне было страшно, — безотчетным страхом, каким боятся темноты и привидений. Фальцет маркиза Гаспара продолжал звучать.

— Сударь, — говорил он, обращаясь теперь ко мне, — я долго взвешивал в уме все «за» и «против». Но отныне мое решение принято. Вы сами не могли бы привести разумных возражений против него, потому что сами не сумели найти никакого выхода из затруднения. Благоволите же счи-

тать настоящий приговор окончательным и безапелляционным.

Он поднял руку, словно произнося проповедь.

— До этого дня, сударь, вы были господином Андре Нарси, кавалерийским капитаном, атташе при главном штабе Тулонской крепости. Вы им больше не будете. Господин Андре Нарси умрет сейчас, и ничто не сможет его спасти, ибо его жизнь стала угрожать смертельной опасностью Людям Живым. Вы, сударь, с этой минуты я не могу вас больше называть офицером, вы будете продолжать жизнь под таким именем, какое вам заблагорассудится выбрать, но продолжать ее здесь, — пленником в этом доме, — по крайней мере, на время, потому что мы отнюдь не собираемся держать вас в вечном плену. Наше пребывание в этой стране, во внимание к вам, не продлится более двух или трех лет. Мы уедем, как только станет возможно уехать, не вызывая подозрений, всегда опасных. Мы увезем вас с собою. Потом, в какой угодно стране, по вашему выбору, лишь бы она была достаточно отдаленной, мы освободим вас, не требуя никакого обещания молчать: ибо ваши рассказы — рассказы лгуна, если б вы имели исключительную смелость воскресить после сорока или пятидесяти месяцев капитана Андре Нарси, ваши рассказы привели бы вас в сумасшедший дом, и на время более долгое, чем два или три года. Вы будете молчать и начнете новую жизнь; желаю, чтобы она была счастливой и свободной от случайностей вроде той, благодаря которой ваша теперешняя жизнь кончается в эту минуту.

Я слушал с холодом в сердце. Маркиз наклонился вперед.

— Принимаете ли вы, сударь, — спросил он, — принимаете ли вы по доброй воле это решение?

Движением плеч я призывал на помощь всю энергию, какая во мне еще оставалась. Потом, подняв голову, я сказал:

— Я в ваших руках. Мне нечего принимать и не от чего отказываться. Я подчиняюсь.

К моему крайнему изумлению, мой ответ, хотя его легко можно было предвидеть, странным образом смутил моего судью. Я увидел, как он кусает губы, переводя справа налево нерешительный взгляд.

— Сударь, — сказал он вдруг тоном непонятого упрека, — я ожидал от вас лучшего. Скажу по правде, эта уступчивость, которую вы изъясняете, не входит в мои расчеты. Подумайте, сделайте милость, о том, что мы за люди; здесь нет ни жертв, ни палача, и вы вольны свободно принять или отказаться подчиниться тому, чего мы от вас ожидаем.

Изумленный, я молча смотрел на человека, говорившего со мною в таких странных выражениях. Он настаивал.

— Еще раз спрашиваю вас, согласны ли вы, чтобы капитан Андре Нарси умер, и согласны ли вы пережить его, ценою единственно нескольких лет заключения, которое будет приятным?

Я не пытался понять. Пожав плечами, я отвечал:

— Нет!

Маркиз Гаспар покачал головой.

— Сударь, — сказал он, — вы не правы.

Его живые глаза пробежали по моему лицу в неодобрительном взгляде.

— Вы не правы. Разрешите мне воспользоваться привилегией моего возраста и говорить с вами, как дед говорил бы с внуком. Вы просто поддаетесь вашему дурному настроению и идете против судьбы, которая, однако, мало заботится о человеческом неудовольствии и брюзжании. Право, это ребячество недостойно вас. Не думайте особенно смутить нас этим «нет», которое вы нам бросаете, как вызов. Вы, конечно, не предполагаете заставить нас покончить с собою, отказываясь от того, что мы вам предлагали. Как сказано, мы вас не убьем, что бы ни случилось. Но не спекулируйте на нашем отвращении перед пролитием крови: вы были бы плохим торговцем. Ибо вы видели, что мы делаем с женщинами, и для нас значило бы менее чем ничего принести так называемую «честь» той, которую вы любите, в жертву нашему спокойствию. Это было бы легко сделать, вам только что говорили, каким образом.

В свою очередь, он пожал плечами. Спустя немного времени он продолжал:

— Вам угодно, чтобы мы раскрыли карты? Так вот, мое намерение, как я уже говорил, обмануть относительно вас тулонские власти, гражданские и военные, а также и общественное мнение. Вас сочтут за покойника, подпишут акт о вашей смерти, выкопают вам могилу и похоронят вас в ней. Таким образом, никому не придет в голову искать вас в этом доме, где вы будете жить жизнью, какою живем мы сами, в ожидании, пока под другим небом вам будет возвращена полная свобода.

Во всем этом нет ничего неприемлемого для такого человека, как вы: без жены, без детей, без домашнего очага. Но для первого акта этой несложной комедии мне необходимо ваше содействие. Этот ложный труп, который похоронят, думая, что хоронят вас, я не могу извлечь ударом жезла из тыквы, наподобие фей наших сказок. Я сотворю его способом, который стоит их способа. Но мне нужно, чтобы вы мне помогали, и помогали свободно и по доброй воле.

Я слушал с крайним изумлением и беспокойством. Когда он кончил, я увидел, как граф Франсуа и виконт Антуан одновременно повернули головы к их отцу и деду, и глаза их сверкнули, как будто их внезапно осветило раскрытие этой тайны, которой я не понимал.

В последний раз я призвал на помощь всю мою колеблющуюся волю. И я сказал:

— К чему столько слов? Вы здесь господин. Не имеет значения, какой род шантажа вы пустите в ход, чтобы закончить все это. Я вам уже предлагал мою жизнь, чтобы выкупить жизнь госпожи де***. Угодно вам, чтобы я повторил мое предложение? Пусть будет так. Я его повторяю.

Маркиз Гаспар протестовал жестом руки.

— Та, та, та! Какой вы упрямец... Дело идет не о жизни и смерти, вы это прекрасно знаете. Дело идет о том, что вы называли — довольно забавно — «репутацией» женщины, которая может быть по вашему выбору либо принесена в жертву, либо спасена — вы знаете, какой ценой. Еще одно: к этой спасенной «репутации» я присоединяю еще одно

преимущество для предмета ваших забот: она никогда больше не вернется сюда и будет навсегда избавлена от участи «работницы Жизни», которая вызывала сейчас ваше справедливое сожаление. Теперь все сказано. Прекрасно. Будете ли вы, сударь, платить за госпожу де***? Или госпоже де*** придется платить за вас?

Прежде чем он закончил свою фразу, я наклонил голову. Тотчас же он встал.

— Очень хорошо!— сказал он вдруг торжественным тоном. — Я имею ваше слово. Больше мне ничего не надо.

Граф и виконт тоже встали.

— Господа, — провозгласил маркиз, — я вижу, что вы меня поняли. Благоволите приготовить все нужное и не теряйте времени, ибо день скоро наступит. Что касается меня, я должен сначала отдохнуть и собраться с силами.

Он подошел к одному из странных седалищ с подлокотниками и подставкой для головы, вид которых заинтересовал меня недавно, когда я вошел в залу. Он сел, или скорее, утонул в этом подобии дормеза. Закрыв глаза, он ушел всем своим телом в точно рассчитанные изгибы спинки, сиденья и подлокотников.

XXV

По-прежнему сидя в кресле, я ожидал и смотрел.

Граф Франсуа и виконт Антуан молча приступили к таинственной работе.

Прежде всего, они отодвинули всю мебель, выстроив в ряд три кресла вдоль стены и освободив весь паркет, как будто дело шло о приготовлениях к балу. Потом, не говоря ни слова и повторяя, очевидно, жесты, выученные заранее и повторявшиеся уже много раз, они взяли в углу станок, о котором я говорил, и установили его на продольной оси залы, отмерив приблизительно треть длины этой оси. Потом, открыв сундук, они достали оттуда странный предмет, который вынули осторожно и не без усилия донесли до стан-

ка, где и установили его в вертикальном положении. Этот предмет, величиной с большое колесо экипажа и такой же плоский и круглый, оказался оптической чечевицей, подобной чечевицам фонарей или электрических прожекторов, с той только разницей, что он был не из стекла, но из материала, которого я не мог определить: скорее просвечивающего, чем пропускающего свет, и бесцветного, но с блестящими отблесками, перепивающимися всеми оттенками золота, от рубиново-красного до изумрудно-зеленого. Эти отблески были отделены от бесцветной просвечивающей массы, хотя и вкраплены в нее. В общем, было похоже на данцигскую водку, где плавают крупинки золота, а также на лейденскую банку, где мишура переливается внутри стекла.

Потом оба старика приблизились к маркизу, все время остававшемуся неподвижным в своем странном дормезе, и без малейшего шума стали катить этот дормез по направлению к месту, где я увидел на полу четыре заметки, точно обозначающие местоположение четырех ножек кресла. Действительно, один за другим граф и виконт, стоя на коленях на полу, проверяли, все ли на своем месте. Без сомнения, дело шло об операции, которая внушала какие-то загадочные опасения. Когда первое кресло было установлено, наступила очередь второго. И хотя оно было пустым, его передвинули не менее тихо и молчаливо и также проверили с крайней тщательностью его местоположение. Потом оба старика возвратились к своим креслам и сели на них спиной к стене и лицом ко мне. Одного только меня не тронули, оставив на своем месте.

Я продолжал смотреть. Расположение предметов было теперь таково: два дормеза и станок с чечевицей занимали три точки по одной прямой линии; дормезы стояли один против другого, и мне казалось, что один из них помещался как раз там, где образовалось, преломленное чечевицей, отражение другого... Между тем, маркиз Гаспар, неподвижный и с закрытыми глазами, по-прежнему не подавал признаков жизни. И наступило долгое молчание.

Очень долгое молчание...

Сначала я боролся изо всех сил, чтобы оставаться безучастным и сохранить на лице надетую мной маску презрения. Но скоро я почувствовал, что хладнокровие меня покидает. Все происходившее снова принимало характер сверхъестественного, и неопределенная угроза его парализовала мое мужество, подобно тому, как сейчас была парализована моя мускульная и нервная сила. Наконец, я стал опасаться, что обнаружу перед моими врагами неодолимую тоску, овладевшую мною. Я встал и сделал несколько шагов по комнате, чтобы скрыть мои черты от их глаз...

По-прежнему неподвижный, быть может, спящий, маркиз Гаспар, казалось, не заметил моего движения. Но граф Франсуа и виконт Антуан, любезные до последней степени, осведомились без всякой иронии, не чувствую ли я усталости или скуки.

— Сударь, — сказал граф, — благоволите извинить медленность этих приготовлений. Если я правильно понял крайне смелый план моего отца, я беру на себя смелость утверждать, что медленность эта с необходимостью вызывается обстоятельствами. В самом деле, если я не очень ошибаюсь, речь идет о труднейшей магнетической операции, и наш отец собирает сначала весьма предусмотрительно всю свою силу и всю свою энергию, каждая частица которых ему вскоре будет необходима.

Я остановился и посмотрел на моего собеседника. Потом глаза мои инстинктивно обратились к странному аппарату, который он и его сын только что установили.

— Эта чечевица, — объяснил сейчас же виконт Антуан, — служит для того, чтобы концентрировать в нужном пункте магнетические излучения трансмиссионного тока. Она сделана из специального сплава, изобретенного графом де Сен-Жерменом, преломляющего электрические лучи, подобно тому, как стекло преломляет лучи световые. Путем

многократных практических упражнений нам удалось усовершенствовать наше естественное магнетическое могущество, достигнув таких результатов, подобных которым никогда не достигали ни ваши врачи, ни психиатры, — ведь вы их так называете? — ни даже самые выдающиеся из ваших спиритов. И операция, которая, по-видимому, будет произведена над вами, представит тому неопровержимое доказательство.

Против воли я поднял брови. Виконт сделал скромный жест.

— Поскольку маркиз не объявлял еще вам своего проекта, ни даже сообщал его в точности нам, я не считаю себя вправе разделить с вами мое предположение. Но, не предвзято — знаете ли вы, сударь, что такое «экстерриоризация»? Не случалось ли вам когда-либо присутствовать на сеансе какого-нибудь чародея, вызывающего фантом?

Вопрос показался мне нелепым, и я не отвечал.

— Мне кажется, — продолжал виконт, не обращая на это внимания, — мне кажется, что я видел своими глазами нечто в этом роде. Двое ловких шарлатанов, один из которых величал себя «медиумом», вызвали в полутемной комнате светящуюся тень, которая имела вид человеческого тела и должна была изображать душу одной умершей особы. Это был жалкий обман, но тем не менее светящаяся тень была налицо, видимая и материализованная. Без сомнения, один из двоих шарлатанов извлек ее из субстанции другого посредством экстерриоризации. Как ни грубы опыты в этом роде, они приближаются, однако, к тем, которые применяем мы, когда вынуждаем одного из наших «работников Жизни» уступить нам часть своих атомов или клеток. И еще более они приближаются к тому, что сейчас... Но я чересчур заболтался...

Он замолчал с некоторым смущением. И граф Франсуа заговорил тотчас же, как будто хотел отвлечь мое внимание от последних слов сына.

— Сударь, — сказал он, — оставьте то, что вы скоро узнаете сами. И позвольте мне поздравить вас с этим единственным счастьем, которое выпало вам на долю: вам, Че-

ловеку Смертному, случайно оказаться в обществе Людей Живых и быть вынужденным некоторое время жить их жизнью. Не думайте, что я насмехаюсь над вами. Вы, жизнь которых ограничена пределами, самое большее, столетия, — вы, которые вследствие этого должны торопить ваши мысли и ваши поступки и жить тем быстрее, чем короче ваш срок, — поистине, вы не знаете, что значит «Жизнь» и какая бесконечная сладость заключена в этом слове. Неотвязная мысль о том, что смерть приближается с каждой минутой, отравляет ваш досуг и созерцание — единственные истинные радости, оставляющие далеко позади суетные наслаждения и утехи чувственности. Граф де Сен-Жермен, который столько лет не утомлялся бурным плаванием по океану человеческих страстей и который кончил тем, что потерпел крушение на подводном камне локона белокурых волос, — наверно, никогда не сомневался в том, что по своей вине прошел мимо счастья. Вы сами, сударь, питающий такую сильную любовь к женщине, полной прелести, правда, но прелести чувственной, — вы еще не знаете, насколько коварные плотские ласки ниже чистых радостей духа, какими являются для глаза, умеющего видеть, простые и величавые картины солнечного заката и восходящей луны.

Виконт Антуан простер руку восторженным жестом.

— Никогда нельзя пресытиться этими благами, сударь; и в то время, пока вы будете нашим гостем, я надеюсь показать вам эти два чуда, которыми Смертные Люди не умеют наслаждаться: Ночь и День. Ваш век, упорно предающийся суетным знаниям и механическим забавам, настолько ожесточился в погоне за бесполезными и презренными наслаждениями, что потерял из виду естественные радости бытия и, перестав их видеть, перестал и наслаждаться ими и ценить их. Вы сами сейчас, идя со мной под дождем, — бьюсь об заклад, что вы невольно проклинали скользкую тропинку и сырые кустарники, ни разу не подняв глаз к тому романтическому великолепию, которым был обвеян наш путь: к нахмурившимся горам, к их вершинам, разрывающим перламутровые ризы облаков, к про-

зрачному серебряному поясу, которым опоясывала себя Природа...

Я слушал, и мое изумление еще раз пересилило тоску и тревогу. Я слушал этих диких людей — подлинных вампиров, каннибалов, потому что в конце концов они были вскормлены человеческой плотью и кровью, — я слушал их изысканные поэтические слова и думал о всех тех несчастных жертвах, которые входили здоровыми и сильными в этот дом и выходили из него бледными и изнемогающими, единственно для того, чтобы три диких зверя могли спокойно наслаждаться «чистыми радостями духа».

XXVII

Граф Франсуа посмотрел на своего отца, по-прежнему неподвижного, как труп, в глубине странного седалища, наполовину кресла, наполовину шезлонга. Быть может, он прочел на этом абсолютно-неподвижном лице какой-нибудь знак, которого я не заметил. Как бы то ни было, граф повернулся ко мне и сказал:

— Сударь, час операции приближается. Прошу вас, подумайте и спросите себя, нет ли чего-нибудь, чем вы пожелали бы предварительно воспользоваться? Вы знаете, мы готовы сделать все, чтобы доставить вам удовольствие.

Я готов был уже отказаться, когда во мне мелькнула одна мысль, внезапно озарив все мое существо ярким блеском. И я остался на месте с поднятой рукой.

— Говорите же, сударь, — настаивал граф.

Я ответил не сразу, размышляя и рассчитывая про себя. Наконец, приняв решение, я заговорил, глядя на всех троих.

— Господа, я действительно желал бы, чтобы мне была оказана одна милость. И я надеюсь, что вы не откажете мне, потому что я дам хорошую плату за это. Если я получу то, чего желаю, я готов предложить в обмен не только мое пассивное согласие, но самую активную помощь во всем,

что бы вам ни вздумалось потребовать после, хотя бы во вред себе самому. Вы мне только что дали возможность увидеть спящей или загипнотизированной госпожу де***, мою подругу. Прекрасно! Я хочу видеть еще раз — последний раз — эту даму; но я хочу ее видеть проснувшейся, сознательной, живой, я хочу говорить с ней, я хочу сказать ей «прости» и оставаться с нею один на один в течение часа. Один час, да! — только час. И вслед за этим я буду вашим, вашим слугой, вашей вещью — как вы захотите, и насколько вы захотите.

Я замолчал и скрестил руки на груди.

Сначала ни граф, ни виконт не ответили ничего. Они колебались, и я видел, что они совещаются взглядами друг с другом. Потом оба обратились к маркизу Гаспару, задавая ему безмолвный вопрос. И на этот раз я ничего не увидел на неподвижном лице, на котором сомкнутые ресницы скрывали взгляд. Но, вероятно, граф Франсуа что-то заметил, потому что сразу и без малейшего колебания отвечал мне:

— Сударь, мы согласны исполнить то, чего вы желаете.

Несказанное волнение заставило меня пошатнуться. Граф продолжал внимательно изучать лицо своего отца, читая на нем решения, которые он переводил мне.

— Мы согласны, сударь, — повторил он. — Мы будем иметь честь проводить вас к госпоже де***. Мы вас оставим наедине с ней, и минуту спустя эта дама, согласно вашему желанию, проснется. У вас будет досуг свободно болтать с ней, и даже злословить на чей бы то ни было счет. Ибо знайте и не удивляйтесь: госпожа де*** в вашем обществе будет в сознании, и узнает вас, и будет радоваться вашему присутствию, — но, тем не менее, на глазах ее будет невидимая повязка, которую мы наложим; она не будет знать, где она, и несколько не удивится, встретившись с вами в незнакомой комнате, которую она добросовестно примет за свою или вашу, — короче, не будет знать ничего, что ей запрещено знать в интересах Людей Живых. Если б даже, сударь, вы употребили ваш труд и ваше время на то, чтобы попытаться рассеять это блаженное неведение, — пре-

дупреждаю вас, вы ничего не достигнете. Ибо, когда истечет шестидесятая минута, госпожа де*** заснет снова, и сейчас же забудет о вашей встрече, которая совершенно изгладится из ее памяти. А теперь, не угодно ли вам следовать за нами?

Он уже отворил дверь и, предшествуемый своим сыном, двинулся через проходную комнату. Я шел за ним. Мне казалось, что я шатался.

— Сударь, — сказал мне граф Франсуа тихим голосом, — на один час вы здесь у себя.

XXVIII

Она все еще спала, тем же роковым сном, более близким к смерти, чем к жизни. И на ее потемневших веках, бледных губах и пепельно-серых щеках я напрасно искал хотя бы слабого румянца — знака, что в ее артериях еще оставалось сколько-нибудь крови.

Прошла бесконечная минута. Я склонился над постелью, не решаясь коснуться рукой ни одеяла, ни простынь. Наконец, я услышал в ее неподвижной груди почти незаметное дыхание; потом сразу на обеих щеках проступила очень бледная, но все же успокоительная окраска, которую я ожидал так нетерпеливо.

Это было настоящее воскресение, чудесное и быстрое. Все лицо постепенно окрасилось снова румянцем. Сердце начало биться, и прекрасные груди, которые я так любил, приподнимали в гармоническом ритме покрывавшую их простыню. Под моими губами, готовыми встретить поцелуем пробуждение еще сомкнутых век, я чувствовал, жизненная теплота вновь возвращалась на лоб и щеки. Тихий вздох приоткрыл уже слагающиеся в улыбку губы, и я не мог удержаться, чтобы не поцеловать их.

Боги! Боги! Сколько веков протекло после этого поцелуя?

Она сказала:

— О! Я спала. И ты уже оделся, бессовестный?

Она обвила вокруг моей шеи свои атласные руки, и я чувствовал, как все ее тело, — легкое, слишком легкое! — сладострастно вытягивалось под простынею...

Она продолжала:

— Милый, милый... Я так устала... Никогда я не смогу больше подняться, уйти и возвратиться вновь... Никогда больше! Бедная малютка... Сударь, вы сломали вашу куколку...

Она замолчала, потому что последние слова были произнесены слишком близко от моих губ.

Она лежала, как в гнездышке, среди подушек, и ее золотые волосы блестящими волнами ниспадали вдоль тела, и, не выпуская меня из объятий, она смеялась, капризная и нежная, какую она была столько раз, какую я столько раз восхищался в нашей постели... Она смеялась. И склонившись над нею, касаясь коленом ее стана, сжимая в объятиях ее обнаженное круглое плечо, я погружал мой взор в светлые воды ее глаз, — и я забыл — да, я забыл обо всем...

Наступал конец свидания, свидания такого блаженного, «такого сумасшедшего — говорила Мадлена, — что надо удивляться, как голова, руки и ноги остались на своем месте; и настоящим безумием было растерять так все свои гребенки, все шпильки»...

Она поднялась с усилием, которое заставило ее побледнеть, и бросила кругом беспокойный взгляд. И я задрожал от страха, чтоб она не увидела голых стен, окна с решеткой, единственного сломанного стула; чтоб она не удивилась и не ужаснулась, чтобы милый доверчивый смех не замер внезапно на ее дорогих губах. Но нет! Невидимая повязка плотно лежала на глазах жертвы. И комната-тюрьма не показалась необычайной ее ослепленному взору.

Она спросила только:

— Милый, ведь еще нет семи часов?

И я ответил, тоже смеясь:

— Нет же, глупенькая!

Она довольно тряхнула кудрями, которые блестели, словно пронизанные солнцем, и с наслаждением упала опять на постель, почти не заскрипевшую под нею.

— О! Если так... я еще полентяйничая немного. Тем хуже, если я опоздаю к обеду... Если б ты знал, любовь моя, как твоя маленькая девочка устала... устала... устала... — Она больше не шевелилась, со счастливой улыбкой отдаваясь моим поцелуям, которыми я едва осмеливался прикасаться к ее измученному телу.

Нет, я ей не сказал ничего. Я не мог ей сказать. Она не знала! На ее долю выпало это огромное счастье — не знать. Я не отниму у нее этого счастья. В самом деле, зачем? Нет, мое отчаяние, мой ужас, моя гибель — все это пусть будет только мое. Она не узнает никогда. Я один был осужден, и я один понесу бремя моей судьбы. Она, свободная, спасенная, беззаботная, вернется к жизни. Я останусь, и безмолвно уйду в ничто...

Но как последнюю плату за мое молчание, я по крайней мере сохраню нетронутой, чистой, без пятна и без тени раздирающую сердце радость этого последнего свидания любви...

Окончательно проснувшись теперь, она болтала. И как будто маленькие огоньки свободы вспыхивали с этой болтовней в черной ночи темницы...

Она говорила:

— Представь себе, у моей портнихи, в прошлую среду, когда я...

Потом:

— Полно, ты хорошо знаешь... Мария-Тереза, эта негодница, за которой ты волочился перед носом у меня, на балу эскадры...

И еще:

— В следующий раз, когда мы вдвоем сядем на лошадей...

Я ласкал ее мягкие волосы, ее теплую кожу. Я жадно касался всей этой живой реальности, которая была в ней, которая была ею самой.

И я думал, что поистине я был как мертвец, который слышит из глубины своей могилы, как живые говорят и смеются наверху над ним...

Да, как мертвец...

И я смотрел на любимые глаза цвета моря, смотрел на прекрасные смеющиеся уста, и без слов я кричал в отчаянии: «Это ты меня убиваешь, — ты! Ты вступила на мой путь, и я последовал за тобой, и ты привела меня, как будто за руку, к открытым дверям гроба. Это правда, ты была для меня блуждающим огоньком, который обманывает странника, слепого, и толкает его в пропасть. Я упал в эту пропасть. Все кончено! Но как же теперь ты не видишь, как ты не чувствуешь моей скорби, моей смертной тоски? Почему ты смеешься? Ведь это не было написано в моем сердце, что я исчезну, что я никогда не увижу тебя более. Увы! Это было написано: моя любовь, мой приговор, моя смерть... Ты не читаешь их потому, что не умеешь читать; и ты не умеешь читать потому, что не любишь меня. О, моя нежность, мой кумир! Ты не любишь меня, я это вижу... Но все равно, если ты меня не любишь, тебе будет не так тяжело потерять меня, ты скорее утешься, твоя молодость заставит тебя скорее забыть и начать строить сызнова свое счастье... Так лучше! Это хорошо. Очень, очень хорошо. Но я, я люблю тебя, — и я тебя спасаю. Я люблю тебя...»

И я сказал громко, как будто отвечая одним этим словом на все слова, которые она говорила.

— Я люблю тебя...

Она замолчала, глядя с разинутым ртом, потом разразилась веселым смехом.

— Ты меня любишь? Ты меня любишь... Скажите!.. Надеюсь, что так, сударь!

И она насмешливо привлекла мои губы к своим для поцелуя, который длился, пока мой мозг не превратился в кипящее олово...

Когда я пошатнулся, она лениво откинулась назад, среди подушек. И веки ее, мигая, начали смыкаться.

— О, — сказала она, — вот когда я устала... устала... Милый, еще нет семи часов, скажи? Еще нет... семи...

И внезапно она упала навзничь, с закрытыми глазами. Дверь отворилась снова.

XXIX

— Сударь, — сказал мне маркиз Гаспар, — я очень рад, что имел возможность предоставить в ваше распоряжение этот час, которого вы желали, и надеюсь, что он не обманул ваших ожиданий.

Он стоял посреди залы, куда я вернулся. Мне показалось, что он вырос, что стан его сделался более прямым, и глаза более повелительными.

На стенах все свечи были потушены. Горели только две стоячие лампы по сторонам камина. И граф Франсуа был занят тем, что уменьшал в них огонь.

— Не угодно ли вам, сударь, — сказал маркиз, — занять теперь место для того, что нам осталось сделать.

Он указал мне на глубокое кресло, в котором только что сидел сам.

Я не хотел выказывать никаких колебаний. Твердым шагом я прошел через залу и сел.

— Антуан! — позвал граф.

Я сидел в одном из двух дормезов, в том, который находился ближе к огромной чечевице Против меня, на расстоянии десяти или двенадцати шагов, я видел другой дормез. Он был пустым. Мое тело, опустившееся в изгибы спинки, сиденья, подлокотников и подпорки для головы, отдыхало, не испытывая никакого усилия или неловкости. Тем не менее, я поднялся, обеспокоенный движением виконта

Антуана, который по знаку своего отца приближался ко мне, держа в руке потайной фонарь, значительно больших размеров, чем тот, которым он пользовался недавно, освещая нам дорогу в горах,

— Берегитесь ослепнуть, сударь, — сказал он, заметив, что я повернул к нему голову. Он направил на меня сноп лучей. Я был затоплен с ног до головы сиянием, тем более резким, что комната была теперь почти темной. В первый момент я зажмурил глаза. Потом, открыв их, я снова уклонился от снопа лучей, направленного на меня, и стал смотреть поверх него в сумрак зала, по направлению к просвечивающейся чечевице и другому дормезу, стоявшему напротив.

Внезапно я задрожал: в другом дормезе, пустом минуту назад, был кто-то или, скорее, «что-то»: светящаяся тень сидящего человека, — тень меня самого.

Я тотчас убедился в этом, подняв руку жестом, который тень повторила в точности. И я понял: моя недавняя гипотеза была верной, один из двух дормезов помещался там, где образовалось оптическое изображение другого, преломленное чечевицей. Как только меня ярко осветили в темноте зала, это изображение сделалось видимым. И мне стало досадно за мое глупое волнение. Секунду спустя, виконт закрыл свой фонарь, и светящаяся тень исчезла. Только тогда меня поразило одно обстоятельство, необъяснимое и в первый момент незамеченное мною: отраженное обыкновенной чечевицей, мое изображение должно было бы явиться перевернутым вверх ногами, — тогда как я видел его прямым. В этом явлении я не мог отдать себе отчета ни в тот момент, ни впоследствии.

Между тем, тонкий голос маркиза спросил:

— Отчетливо ли изображение?

И низкий голос виконта ему ответил:

— Очень отчетливо, сударь.

Моя голова лежала в подпорке, которая наполовину обхватила ее, поддерживая в таком положении, что я мог потерять сознание, не согнув шеи. Поле моего зрения уменьшилось. Я видел только графа Франсуа, все еще занятого

своими лампами, пламя которых он спустил до того, что они казались двумя ночниками.

Маркиз задал еще вопрос, обращенный на этот раз ко мне:

— Сударь, удобно ли вы сидите, без стеснения и достаточно мягко? Предупреждаю вас: это важно.

Я попробовал эластичность пружин и коротко сказал:

— Мне хорошо.

Отвечая, я коснулся обивки дормеза. То не был ни шелк, ни бархат, но род шелковой парчи, очень плотной, которая должна была представлять собой изолятор. Я заметил далее, что нижняя часть ножек была из толстого стекла.

Когда я снова поднял глаза, я увидел маркиза Гаспара, стоявшего передо мной.

— Сударь, — сказал он мне с какой-то странной мягкостью в голосе, — день наступит через несколько минут. И мы не можем медлить более. Не имеете вы никаких возражений против того, чтобы операция началась?

Последнее волнение сжало мне горло. Резким движением головы я дал, однако, понять, что не возражаю.

— Очень хорошо, — сказал маркиз, — я не могу выразить, сударь, насколько я вам обязан.

Он смотрел на меня с каким-то странным волнением.

— Сударь, — сказал он после паузы, — я не хотел бы, чтобы когда-либо в вас могла зародиться мысль, что сегодня вы имели дело с существами бесчеловечными.

Я широко открыл глаза. Он продолжал:

— Операция, которую я произведу — в первый раз — над вами, опасна: откровенно предупреждаю вас об этом. Не от меня зависит избежать этого. Тем не менее, вы, сударь, не будете испытывать ни малейшего страдания. Чтобы увеличить число благоприятных шансов, я вас не усыплю предварительно, хотя мне это и будет стоить лишней усталости и даже физической боли. Но если ваша мускульная и нервная сила останется в состоянии бодрствования, вы лучше перенесете ту потерю субстанции, которую вам предстоит перенести.

Он склонил голову набок и, облокотившись щекой на три своих длинных пальца, сказал тихим голосом:

— Я думаю о том...

Казалось, он соображал про себя.

— Я думаю вот о чем, сударь; вы, очевидно, имеете при себе какие-нибудь бумаги на ваше имя? Я хочу сказать: на ваше прежнее имя... Или, быть может, даже бумажник? Не откажите в любезности вручить мне все, что могло бы служить препятствием.

Молча я отстегнул две пуговицы своего вестона и стал шарить во внутреннем кармане. Я вынул оттуда маленький сафьяновый бумажник, заключавший в себе мое удостоверение личности, несколько карточек, два-три конверта, потом смятую в кармане бумагу — отношение полковника-директора артиллерии. Все это я отдал ему.

— Благодарю вас, сударь, — сказал маркиз Гаспар.

Его голос зазвучал торжественно.

— Теперь, сударь, все в порядке, и так как я вас не усыпляю, мне остается только попросить вас: сообразовывайте, если можно так выразиться, изобразить смерть, ослабив совершенно все пружины вашего тела и ваших членов, также как вашей воли и даже рассудка. Держите себя так, как если бы вы спали. Вы увидите, что я вас прошу об этом в наших общих интересах.

Я сомкнул веки.

Он серьезно поклонился мне.

— Теперь все, — провозгласил он. — Прощайте, сударь.

XXX

Он исчез. Но, спустя минуту, я почувствовал позади себя его присутствие. И я знал с достоверностью, что он стоит во весь рост, и что он на меня смотрит. Его взгляд ударил в мой затылок и мои плечи, и я снова чувствовал давление тока, подобное тому, какое уже испытывал дважды, под взглядами виконта Антуана и графа Франсуа, когда пер-

вый нашел меня в горах и когда второй встретил меня в Доме Людей Живых...

...Подобное, но неизмеримо более могучее и тяжелое. Это были настоящие удары, сыпавшиеся на меня со страшною силой, которой я был в одно время и оглушен, и раздавлен. Под влиянием этих ударов, моя голова начала кружиться. Я видел чечевицу с блестками золота, и дормез, который был против меня, и сундук, и часы, и фрески на стенах, несущиеся в безумном хороводе, центром которого я был. Несмотря на подпорку, поддерживавшую меня, жестокое головокружение колебало землю вокруг меня, и руки мои судорожно цеплялись за подлокотники, ибо мое кресло, попеременно то падая в бездонные пропасти, то взлетая как мяч на незримые высоты, по временам наклонялось до того, что вот-вот должно было перевернуться. И я видел головокружительные бездны подо мной и не мог понять, почему я туда не падаю.

Это было ужасно, но непродолжительно. Вскоре состояние онемения, все возраставшее, умерило мое головокружение, потом прекратило его совсем. И я испытывал только ужасающую слабость. Моя голова, как будто опустошенная от мозговой субстанции сокрушительными ударами, действию которых я подвергался, бессильно лежала во впадине своей подушки, и глаза мои едва могли двигаться в орбитах, когда я хотел направить их на часы, чтобы узнать время. Это мне не удалось, настолько мои зрачки были оцепенелыми и мутными.

Тогда мурашки забегали в моих пальцах, откуда перешли выше, в руки и ноги. Это было похоже на начало судорог. Но судорог не последовало. Мне было очень холодно, и я перестал уже разбираться как следует в своих ощущениях, с каждой минутой все более смутных. Мне только казалось, что тело мое истощалось мало-помалу, наполнялось какой-то неведомой жидкостью, более легкой, чем кровь, в которой плавали все мои органы, свободные от мускульных связей.

И мне казалось, что я умираю...

Лучше было не писать дальше.

Прошло много времени, как я положил мой карандаш. Тетрадь с черной каймой лежит на каменной плите. Я еще колеблюсь, осматриваясь кругом...

Полуденное солнце золотит вершины черных кипарисов. Зимний ветер едва колышет ветви. В синем небе я не вижу ни одного облачка. И несмотря на жестокий холод, который леденит и пронизывает до самого мозга мои старые кости, я почти испытываю наслаждение, созерцая блеск этого прекрасного дня.

Лучше было не писать дальше.

Зачем? Я знаю хорошо, что мне не поверят. Я сам колеблюсь перед этими сказочными, невозможными воспоминаниями. Если б я не был здесь, если б я не читал букв, высеченных на этой плите, к которой я прислонился, и если б моими немеющими пальцами я не касался моей седой бороды, — я сам не поверил бы. Я подумал бы, что я в бреду, или сошел с ума. Но очевидность налицо.

И я не имею права молчать. Надо писать дальше, надо, чтобы я кончил, — ради покоя, мира и безопасности всех мужчин и всех женщин, которые были моими братьями и сестрами...

О вы, читающие это завещание, мое завещание, — ради вашего бога, не сомневайтесь... Поймите! Поверьте!..

Да, мне казалось, что я умираю.

Ощущение бегающих мурашек, единственное из моих ощущений, в котором я с грехом пополам отдавал себе отчет, испытывалось теперь во всем теле, от корней волос и до пят. Но оно не походило более на начинающиеся судороги. Оно было теперь и более правильным, и более своеобразным. И я опять вспомнил Мадлену и наши утренние прогулки верхом, и наши остановки на песчаных прогалинах в лесу, и игру, которую она любила: погружать голые руки в песок, сравнивая два ощущения — от теплого тонкого песка и от теплой, тонкой и гладкой кожи. Мельчайшие песчинки скользили между пальцами с непрерывным шумом, и шум этот был похож на тот, который я слышал

теперь под моей кожей, во всем моем теле: шум невидимого песка, наполнявшего мои вены и нервы, скользившего ровным потоком от сердца и внутренностей к рукам и ногам. В кистях и лодыжках этот странный поток ускорял свое течение, также и в пальцах... И далее... далее... Они были влажны и холодны, мои пальцы, как сосуды из пористой земли, из которых вода вытекает капля за каплей и которые охлаждаются при испарении...

И все время на мой затылок и спину между плечами сыпались градом бешеные удары, непрерывные удары этого ужасного, всемогущего взгляда...

Я слабел все более. Минуту назад я напрасно пытался поднять глаза к часам на стене. Теперь даже веки мои были парализованы. И, не в силах более ни прикрыть, повернуть моих зрачков, я видел только, прямо перед собой, просвечивающуюся чечевицу, волокна которой таинственно блистали, dormire, в котором я только что видел мое изображение, — и часть стены, расписанной фресками, — и все это в очертаниях смутных, как бы струящихся...

И с каждой минутой я чувствовал, мне казалось, жизнь вытекает в молчании из этого опустошенного тела...

Вдруг произошло что-то необычайное. И я был поражен до такой степени, что смог, непонятно какой вспышкой энергии, открыть шире мои глаза, мигая ресницами.

В dormire, где только что обрисовывалось мое изображение, я видел... видел ясно, отчетливо, без всякого сомнения, с непреложной и ужасающей очевидностью, другой образ, тоже светящийся, но иным светом... колеблющуюся и фосфоресцирующую тень... Тень, которая рождалась из пустоты...

XXXI

...Которая рождалась из пустоты...

Сначала она почти не существовала. Поистине, менее, чем тень... она была почти прозрачна, как кристалл: я продолжал видеть все детали дормеза, подпорку для головы, подлокотники, спинку... И она была совершенно бесформенна и бесцветна... Просто молочно-белый свет, неверный и изменчивый, подобный флюоресцирующим волнам Гесслеровых трубок...

Однако, она существовала. Она существовала гораздо реальнее, чем мое изображение, преломленное чечевицей перед тем: существовала существованием материальным, весовым... Я его угадывал, я его чувствовал, я знал. Она жила, быть может...

Она жила, да. Ибо в ткани, в субстанции светящейся тени, я начинал видеть, — я видел, — я видел ясно! — настоящую сеть вен и нервов, более светящуюся, чем само вещество тени... И я видел, как во всех венах и нервах бежала, равномерно пульсируя, фосфоресцирующая жидкость, которая изливалась из центра... которая изливалась из сердца...

Я видел, но что значит видеть? Я угадывал, я чувствовал, я знал — знанием верным, непреложным. Я знал, что эта тень жила, как знал, что живу я сам. И я чувствовал, как бьется ее сердце, как течет эта жидкость в этих фосфоресцирующих артериях — подобно тому, как знал, что бьется мое собственное сердце, и течет в моих артериях моя собственная кровь. И я постигал, что Существо это рождалось не из пустоты, а из меня, — из меня самого, — и что поистине оно было я сам...

И из глубины моей слабости и моей агонии, из глубины смертельного оцепенения, поглотивших мое сознание и мой разум, возникла эта единственная уверенность, и ясное, ясное понимание всего, что мне было сказано в словах, еще недавно темных и непонятных...

Да, это был я сам, эта Тень, сидящая передо мной, эта Тень, светящаяся и уже не такая прозрачная...

Я слабел все более. И я перестал видеть, потом слышать. Черная, непроницаемая завеса окутала меня. Каза-

лось, я умер...

Позже я пришел в себя. Много позже, вероятно. Впрочем, я не знаю, но когда я пришел в себя, вся моя жизнь, предшествовавшая этому обмороку, представилась мне отошедшей на расстояние вечности, отошедшей за пределы всех возрастов...

Холодные руки сжимали мои виски. На мой лоб падали капли с мокрого носового платка. Граф Франсуа стоял передо мной, стараясь привести меня в чувство.

Я испустил вздох и, открыв глаза, разжал пальцы, впившиеся в подлокотники дормеза... Граф снял руки с моих висков, пощупал мой лоб и отошел.

Тогда я увидел...

Я увидел сидящего на другом дормезе человека. Человека, как я. Одинакового. Совершенно одинакового.

Меня самого. Я смотрел и не различал более, он или я был мною. Я не знал также, были ли мы два человека, или один в двух лицах. С трудом я поднял руку и довел движение до конца, потому что рука эта весила теперь не больше, чем рука куклы, — я ее поднял, чтобы увидеть, заставит ли мой жест другого человека — другого меня — поднять руку одинаковым жестом. Но нет! Он не шевелился. Итак, нас было двое. Двое разных людей. Два существа...

Два существа. И тем не менее, несомненно, две половины одного целого. Одного целого, да. И вся моя разреженная плоть стремилась к этой другой плоти, экстерриоризированной, исторгнутой из меня.

Другой человек. Человек, не галлюцинация, но фантом. Ни савана, ни струящихся очертаний вместо платья. Одежда. Такая же одежда, как моя. Я посмотрел на свою одежду, еще сейчас бывшую новой; теперь она сделалась старой, изношенной, изношенной до нитки.

Ветхой, как я сам.

Увы! Зачем?... Зачем?... Я знаю хорошо, о, вы, читающие, — я знаю, что вы не поверите...

Подумайте, однако, о том, что я не безумен. Разве сумасшедший говорил бы так, анализировал, рассуждал с такой правильностью? Нет! И вспомните, что я умираю. Две причины, по которым я не лгу, две причины, по которым не может быть сомнений в моей правдивости...

И все-таки, увы! Зачем? Я знаю, я хорошо знаю...

XXXII

Человек поднялся с дормеза и подошел к двери.

Я видел, как он шел моим шагом. Когда он поднимался, я почувствовал напряжение в мускулах колен и крестца, как будто это я сам делал усилие, чтобы подняться. И каждый из его шагов вызывал короткие сокращения в моих бедрах, икрах и лодыжках.

У двери в прихожую он остановился и стоял неподвижно, положив руку на щеколду.

И тогда я услышал голос маркиза Гаспара — голос, который я едва узнал: до такой степени он был слабым, тихим, надломленным, — скорее вздох, чем голос:

— Бумаги!

Высокая фигура виконта Антуана встала между Человеком и мной. Тем не менее, я видел — не знаю, как, — что виконт сунул в карман Человека мой бумажник и письмо полковника-директора...

— Сделано, — сказал виконт.

Человек отворил дверь и ушел.

Но когда он был в прихожей, отделенный от меня стеной, я продолжал его видеть. Не через стену, не моими глазами... но, так сказать, другими глазами, которые сопровождали его, которые его не покидали также, и еще более, чем мои глаза не покидали меня самого... И этими глазами я видел яснее и отчетливее, чем моими собственными глазами...

И когда он вышел из прихожей в сад, под деревья с перепутавшимися ветвями, я продолжал его видеть. И ког-

да он вышел из сада и пошел по равнине, среди дрока и тоших мастиковых кустов, я продолжал его видеть...

Еще раз — в последний раз — слышался фальцет маркиза Гаспара. И я чувствовал, что он собирает все силы, всю звучность этого голоса, почти мертвого, чтобы торжественно заявить:

— Сударь... этот Человек, которого вы видели, который ушел, — будьте свидетелем: я сотворил его, — как Бог сотворил меня. И, сотворив, я имею право его уничтожить, — как Бог вправе уничтожить меня, — если сможет!

XXXIII

Я продолжал его видеть.

Он шел быстро, скользя с удивительной ловкостью сквозь заросли. И я вспомнил Мадлену, которую я видел шесть часов тому назад... шесть часов или шесть веков?... скользящую так же...

Бледная заря занималась на востоке. Тем не менее, за тенью гор земля оставалась темной. И, однако, я видел ясно. Я видел бы так же ясно и в еще более черной ночи. Я видел, как если б я прикасался к нему. Эти сверхъестественные, необыкновенные глаза, которыми я сопровождал Человека шаг за шагом, эти глаза, прикованные к его плоти, которая была также и моей... эти непогрешимо-верные глаза были как руки. Они скорее ощупывали, чем смотрели.

Человек шел очень быстро. Я видел уже вокруг него чудовищные отвесные глыбы, почти геометрические очертания которых, вырастая из непокрытой кустарниками почвы, изумили меня недавно. В этом лабиринте Человек не обнаруживал никакого колебания, уверенно ускоряя свои шаги...

Вскоре я почувствовал в ногах уколы мастиковых колючек и дрока... Словно это меня, а не его, хватали на ходу острые шипы... И моя усталость, по мере того, как он шел

все далее, возрастала до того, что я испытывал острую боль в лодыжках и коленях...

Теперь он вышел из лабиринта камней. Он подвигался вперед между обвалившимися скалами и крутизнами, которые я узнавал также. Там я проходил шесть часов назад... Недалеко оттуда потайной фонарь моего проводника освещал сомнительную тропу, и его палка раздвигала передо мной тернии — те самые тернии, которые царапали теперь ноги Человека,— и мои ноги...

Вдруг Человек остановился.

Рассвет мало-помалу восходил до зенита. Земля смутно белела. Показались высокие колючие растения, скрывавшие резкий уклон почвы...

Человек, стоя со скрещенными на груди руками, наклонился вперед. И я наклонился с ним вместе.

То была пропасть — пропасть, на краю которой я содрогнулся недавно. Я ее узнал, как узнал лабиринт отвесных глыб и хаос обвалов, и заросли дрока и мастики. Я узнал вертикальный обрыв, белые камни в глубине бездны, зеленую клокочущую воду. И я узнал также мой прежний трепет...

На восточном горизонте, на палевом предрассветном небе, первое красное пятно, красное, как пятно свежей крови, указывало место, где должно было взойти солнце...

Внезапно, в ту минуту, как я боролся со своим головокружением, чудовищный толчок во всех моих мускулах бросил меня с моего дормеза в воздух, как трамплин бросает в воздух тело гимнаста. И, несмотря на всю мою слабость и истощение, этот толчок подбросил меня так высоко, что я упал на землю более чем в трех шагах от дормеза.

Я упал головой и руками вперед и лишился сознания.

Однако я успел увидеть, как Человек, тоже сброшенный головою вниз в пропасть, распростерся, — убитый на месте, — среди клокочущей воды, на белых камнях.

Потом... Я больше не знаю... Я больше ничего не знаю... Это утро... дождливое... Через окно с решеткой в комнату-тюрьму проникает какой-то клейкий свет... Я лежу на постели. И, очнувшись, я напрасно пытаюсь приподняться на локте, чтобы осмотреться кругом. Я не могу. Я слишком слаб...

Но тотчас же я вижу... я вижу, в другом месте...

Бегущая волна... Зеленые травы... мхи... Обрыв скалы, вертикальный, высокий... Белые камни, омытые быстрой водой... и, на их острых вершинах, труп. Мой труп: я.

Вода треплет мою одежду, покрывает мне грудь и плечи, омывает лицо, наполняет широко раскрытые глаза...

Но я больше не чувствую прикосновения холодной жидкости... Я не чувствую также северного ветра с дождем, который хлещет мои ноги и бедра, выступающие из воды, на узком берегу потока... Я не чувствую больше ничего. Я умер. Я хочу сказать: Человек — Человек, который был мною, — умер. Я вижу кровавую дыру в его затылке, большую дыру, в которую проникла острая игла утеса и из которой вылетела жизнь.

Мой затылок, — у меня, лежащего здесь, на этой постели, в этой комнате, — мой затылок болит, очень болит...

Я лежу без движения. Несколько раз я пытался повернуться... Но я не могу. Не могу ничего.

В приоткрытое окно вливается свежий запах смолистых деревьев, омытых дождем. Я один. Сначала они были здесь — граф Франсуа и виконт Антуан. Они смотрели на меня, щупали мой пульс, мои члены, мой затылок. Но вскоре они ушли. Я остался один.

Все, что рассказано выше, все это теперь прошлое, — прошлое сказочно-далекое. Я смотрю на труп, наполовину затонувший. Я стараюсь вспомнить... Я упал, да... Я нагнулся, чтобы взглянуть в глубину... я наклонился... И внезап-

но на меня обрушился страшный удар, подобный тем, которыми осыпал мой затылок и плечи ужасный раздавливающий взгляд...

Я смотрю на труп — мой труп. Это труп уже старый. Мухи жужжат над ним... вокруг шумит бегущая вода... Вода точит его, портит, разлагает... В самом деле, очень старый труп... Гробовщику нужно поспешить...

Я тоже, я тоже стар...

Разве был я настолько стар еще сейчас? Или солнце остановилось на небе?.. Давно... Много лет... Я не знаю...

Без сознания... Я был без сознания... это я вспоминаю.... Когда я упал с утеса... Моя голова и руки ударились о паркет... Без сомнения, это Люди Живые перенесли меня сюда в комнату... на эту постель... Быть может, это бегущая вода, и дождь, и северный ветер зимы состарили меня так?

Состарили?.. И с каждой минутой все больше и больше...

Я касаюсь моего подбородка. Борода начинает вырастать оттуда... Она растет быстро, быстро... И когда я кладу руку на виски, я чувствую морщины...

Три раза уже дверь приотворялась, и я видел внимательные лица Людей Живых. Каждый раз я закрывал глаза, но не плотно, и следил сквозь полусомкнутые веки... И я видел, что Люди были изумлены, — изумлены, очевидно, моей старостью, моей внезапной старостью...

Который теперь час? Какой день? Какой год? Моя борода стала седой. Я ее вижу. Она уже длинная и широкая. Так вырастают волосы у мертвеца. Мои руки исхудали. Сквозь пергамент моей кожи я нащупываю узловатые кости...

Мне кажется, что солнце садится. В комнате-тюрьме темнеет. Решетчатое окно пропускает только неверный и слабый свет. И бегущая вода, там, зеленая вода становится темной вокруг трупа, уже неясно видного... разложившись, мне кажется... расползающегося по кускам...

Да, наступает ночь. Люди Живые вошли опять — отец и сын; дед исчез, его не видно. Они приблизились к постели.

Они долго смотрят на меня с озабоченным видом. Потом они уходят, не говоря ни слова. В треугольном канделябре горят теперь три свечи, образуя на трех копыях три огненные острия. «Там» сумерки сгущаются, и темная вода становится черной...

Что такое?.. Факелы в комнате... Крики... А! Нет... это «там». Это там, над пропастью, факелы склоняются, взоры ищут в пустоте... Я вижу красную с синим форму, я вижу носилки... Так, я понял: это для меня.

Крики. Ругательства. Потом голос, приказывающий другим молчать. Я слышу, слышу ясно...

— Говорю вам, я вижу его! Он в яме. Надо спускаться.

— Легко сказать! Такая глубина...

— Не бойся! Дело привычное. О-ла-ла! Это не трудно. Сто тысяч чертей!

— Не горланьте же так, бездельники!

— Да тут ничего не разберешь, сержант. Он совсем сгнил!

— Что, что такое? Совсем сгнил? Какая чепуха! Что вы толкуете? Он умер всего двадцать четыре часа назад...

— Ладно, про это я ничего не могу сказать... Но что говядина протухла, это верно. Должно быть, потому, что в воде... Давайте-ка холст и веревки! Привязывайте за четыре конца! Это не человек, это каша... Его нужно вычерпывать ложками...

— Но тогда, кто знает, может быть, это кто-нибудь другой? Не ошибиться бы, черт возьми! Пошарьте-ка в карманах, тогда видно будет.

— Да тут все склеилось... Это он! Я нашел его удостоверение и визитные карточки... Наверно, это он. Вы там, у веревок — готовы?

— Готовы!

— Ну, тогда — раз, два, три! Тащите говядину... Так, так!

— Чего еще: «так, так»!

— Что за черт! Он почти ничего не весит?

— Рассказывайте! Но если он так развалился, посмотрите, не забыли ли вы часом на земле ноги или руки?

— Нет, сержант. Ни даже головы!

— Поднимай, поднимай!
— Вот он и в отставку вышел...
— Стой!.. Стройся... Марш!
— Старайтесь, по крайней мере, не трясти носилки.
— Да, ему теперь не по вкусу придется, если трясти его экипаж...

Саван плотно сжимает мою голову, стягивает все мои члены. Носилки, покачиваясь, трогаются в путь. Я вижу все время, вижу ясно...

Пламя факелов и огонь трех свечей в канделябре сливаются вместе свой блеск...

Черная ночь.

Сквозь решетчатое окно не проникает более даже вечерний свет. И даже вечерний свет не падает более с погасшего неба на тропинку. Саван закрывает мои глаза, саван там, и сон здесь. Сон, подобие смерти...

Снова рассвет...

Я не вижу его, но я угадываю. Прямоугольник решетчатого окна темен по-прежнему. Но, тем не менее, ночь прошла. Я чувствую через толстые стекла, чувствую холод, который предшествует утру...

Три свечи догорели почти до железа трех копий. Их фитили, склонившиеся в лужицах воска, бросают только неверный танцующий свет, который по временам угасает

Сон возвратил мне немного сил,— очень немного. Быть может, я смог бы подняться с этой постели?

Я пытаюсь высчитать, сколько времени прошло с начала События... Сегодня... сегодня, вот уже рассвет. Вчера... вчера я был здесь... Да, я сделался старым вчера — вчера между рассветом и сумерками. И позавчера вечером я вступил в Дом Людей Живых... Значит, всего две ночи и один день.

Один день... Но как они глубоки, эти морщины на моем старом, старом лице! И эта поросль цвета инея, которая свешивается с моих щек, с моего подбородка... Один день, да!

Но горший для меня, чем век... Кто мне поверит когда-либо? Никто, никто, никто...

Быть может, я смог бы подняться с этой постели... Но сначала нужно, чтобы мне помогли, чтобы развернули этот стягивающий холст... Какой холст? Нет никакого холста, кроме этих простынь, которые мне совсем не мешают... Что же тогда?! А!.. Да... Это другой холст, вокруг Человека... Я вижу все время... Я вижу... И я путаю, не правда ли?

Рассвет... Вот он, наконец: прямоугольник решетчатого окна светлеет...

Я не слышал, как отворилась дверь. Я был изумлен и не успел закрыть глаз.

Они вошли оба, граф Франсуа и виконт Антуан. Они на меня смотрят. Я вижу, как вчера, что они изумлены...

Граф Франсуа говорит мне:

— Сударь, прошу вас встать...

Я встал без всякого усилия. Я слаб, очень слаб, но легок, легок, — так легок...

Граф Франсуа продолжает:

— Сударь, мой отец слишком утомлен и не может покинуть своей комнаты. Мой сын и я, мы пришли для того, чтобы отвести вас туда...

Я последовал за ними. Не все ли равно, где мне быть? Там или здесь?

Я не увидел маркиза Гаспара. В его комнате ширмы из старого шелка скрывают постель, я мог видеть только ее четыре витых колонны, очень высокие, и четырехугольный балдахин без занавесок.

Но я узнал его фальцет и те мягкие интонации, с которыми он умеет говорить, когда не хочет быть ни повелительным, ни насмешливым...

Человек Живой говорит, и я слушаю, и в моей истощенной памяти, где изглаживаются и падают в прах все воспоминания прошлого, его слова врезаются так глубоко, что — я знаю — пребудут в ней до конца.

Он говорит:

— Сударь, я был лучшего мнения о моем магнетическом могуществе и о вашей жизненной энергии. Не могу выразить, как я сожалею о том, что я сделал, — что я должен был сделать. Наша безопасность, наше спокойствие, наше вероятное бессмертие этого требовали. Теперь они обеспечены ценою одного только усилия. Но я шел на то, чтобы это усилие только утомило вас, как оно утомило меня самого, и отнюдь не повлекло за собой вашего истощения. Конечно, опыт, который мы произвели, был опасным, и я вас предупреждал об этом. Думая о вас, я в особенности опасался неизбежного разрыва вибрационной связи, которая вначале соединяла нас с существом, извлеченным мною из вашей субстанции. Я опасался также смерти этого существа, которое я сотворил и должен был уничтожить, — опасался, зная, что его уничтожение жестоко отзовется на вас. Вы, сударь, прекрасно перенесли и то и другое потрясение, но лишь для того, чтобы минуту спустя впасть в то непонятное состояние истощения, в котором я вас нахожу. Сударь, я искренне опечален и умоляю вас верить: не от меня зависело то, что сегодня вы не чувствуете себя таким же здоровым и сильным, как были.

Пауза. Я делаю шаг, чтобы уйти. Но голос начинает звучать снова, более медленно и более торжественно, я продолжаю внимательно слушать.

— Поскольку дело обстоит так, остается только примириться с непоправимым. Но в этом заключаются и некоторые преимущества для вас. Возражения, которые мы делали против того, чтобы отпустить вас немедленно, отпадают теперь сами собой. То, что было невозможно по отношению к человеку здоровому телом и духом, сильному и молодому, каким вы были вчера, мы без всякого затруднения можем разрешить человеку старому и слабому, каким вы являетесь сейчас. Сударь, с этой минуты вы свободны, свободны без всяких условий. Если хотите, мой внук будет иметь честь открыть перед вами нашу дверь. И вы можете направить ваши стопы, куда вам заблагорассудится. С нас довольно того, что вы никогда не скажете ни одной душе

человеческой о том, что вы видели в нашем доме. И вы не будете говорить.

Я все слушаю. Я не удивляюсь нисколько, как ни неожиданна эта свобода, которую мне возвращают. Я слушаю и чувствую, что каждое из обращенных ко мне слов проникает в меня и запечатлевается во мне неизгладимо. Я понимаю хорошо: из ужасного испытания моя воля, мое сознание, самый разум мой вышли непоколебимыми, уменьшившимися, разреженными; моя голова, если можно так выразиться, наполовину пуста, и эти слова, которые ко мне обращают, и эти веления, которые мне дают, — все это, исходящее от другой воли, другого сознания, другого разума, занимает в моем мозгу место того, что ушло оттуда, и с грехом пополам заполняет эту несносную пустоту в моей голове...

Фальцет маркиза Гаспара продолжает:

— Кроме того, вы имеете наше слово. Госпожа де***, ваша подруга, покинувшая этот дом вчера вечером, никогда больше в него не возвратится.

Госпожа де***, моя подруга?.. Ах, да... Я об этом не думал... В самом деле, я очень стар... И мое сердце тоже начинает истощаться... Я очень стар, и многое во мне уже изменилось...

Госпожа де***, да... Мадлена... она не возвратится никогда более. Пусть будет так.

Фальцет заканчивает:

— Прощайте, сударь.

Все кончено.

За дверь, наружной дверью из дерева, обитого железом, которую мне открыли, и на первой из восьми ступеней крыльца, граф Франсуа и виконт Антуан говорят мне, один за другим, те же слова:

— Прощайте, сударь.

XXXVI

Я шел весь день, от зари до заката. Я не мог бы снова найти дорогу, по которой я шел. Я двигался наудачу, и усталость почувствовал только тогда, когда пришел.

Было поздно, когда я пришел, — очень поздно. Я двигался наудачу, не заботясь о направлении. И вдруг я заметил, что иду по улице. И справа и слева я увидел дома.

Проходя подъемный мост, я узнал Тулон и окружающий его вал. Под аркой ворот я увидел, что небо уже окрашивалось кровью, и понял, что наступает вечер. Мои ноги едва волочились по пыли. Но я продолжал идти, сам не зная куда, — как железо стремится к магниту.

Немного далее я прошел мимо магазина. И я увидел рядом с собою необыкновенно жалкого старика, истощенного, сгорбленного, оборванного, с потухшими глазами, с длинными волосами и седой бородой. Я остановился, и он остановился тоже. Тогда я понял, что увидел себя самого отраженным в окне магазина.

Еще дальше я достиг перекрестка двух улиц. И я увидел мой дом. Я бессознательно шел к нему. Мои ноги, внешне парализованные, остановились.

Я прислоняюсь к стене напротив и смотрю во все глаза...

XXXVII

Улица, тротуары, мостовая запружены огромной толпой, люди сбегаются со всех сторон, разговаривая вполголоса. Многие одеты в черное. Офицеры в парадной форме держатся отдельно, группируясь возле начальника в шляпе с плюмажем. Широкая лента пересекает его грудь. Я уз-

наю высокую фигуру и серьезное лицо вице-адмирала губернатора...

Духовенство собралось вокруг креста. Красные шапочки детей хора выделяются между стихарями. Мантия каноника вьется по ветру...

Немного далее ожидает рота колониальной инфантерии, с ружьями к ноге.

В окнах домов виднеется множество лиц. Дети взбираются на балюстрады балконов и смотрят оттуда, без смеха и криков. Толпа сосредоточена, или старается быть сосредоточенной.

Все взгляды обращены на мой дом. Его дверь убрана широкой черной завесой. Две серебряные буквы выделяются на щите из бархата. Я читаю: «А. Н.» — Андре Нарси. Так и есть.

Так и есть: мои похороны. Я понял.

Вот погребальная колесница приближается шагом, прокладывая себе дорогу в толпе. Лошади покрыты траурными попонами. Четыре колонны эбенового дерева увенчаны колеблющимися перьями. А вот венки: десять, двадцать, тридцать, все перевитые трехцветными лентами. На каждой — надпись золотыми буквами. Я не могу их разобрать. Слишком далеко. Быть может, сейчас, когда кортеж тронется...

А движение по всей улице... Вынос тела, вероятно! Да. Вот гробовщики показываются в дверях. Они двигаются легко: мой гроб не тяжел. Я поднимаюсь на носках, чтобы лучше видеть. Дерево гроба исчезает под складками знамени, развернутого сверху. Другие люди в черном приближаются и возлагают на колесницу доломан небесно-голубого цвета и кавалерийскую саблю, клинок и ножны которой, сложенные крест-накрест, звенят друг о друга; моя военная форма и мое оружие, — действительно, таков обычай, — а также мои ордена, без сомнения; я их не вижу, я не успел их увидеть...

Зато я вижу кое-что другое... да... Я вижу этими другими глазами, сверхъестественными, необыкновенными, которые проникают сквозь стены и камни, сквозь кустарни-

ки, которые проникают даже сквозь доски гроба. Я вижу, да! Вижу ясно...

Ужас! Ужас!

Рожки трубят. Похоронная процессия трогается.

Духовенство идет во главе с пением псалмов. Потом восемь офицеров, держащих покров. Потом солдаты. Потом колесница...

На грубо вымощенной мостовой рессоры испытывают толчки. Гроб качается. Слишком много толчков, слишком много толчков... О, будьте осторожны! Этот бедный, бедный труп внутри... Будьте осторожны! Смотрите: под колесницей в щели между досками просачиваются зловещие капли и падают на мостовую, одна за другой...

Толпа удаляется вслед за колесницей.

Они свернули на углу улицы. Они свернули к церкви и оттуда к кладбищу. Они спешат, чтобы покончить со всем до наступления ночи.

Улица теперь совсем пуста. Окна снова закрылись.

Я остался там, где стоял, прислонившись к стене. Усталость внезапно сковывает мои члены. Обессиленный, я сгибаюсь...

Тем не менее, я хочу идти дальше. Я перейду через улицу, к моему дому. Куда же мне иначе идти?

Дверь, ведущая в коридор, еще открыта. Траурные драпировки висят по бокам. Я переступаю через порог и останавливаюсь.

Там стоит маленький столик, покрытый крепом; на нем чернильница, перо и большой похоронный реестр. Ветер, проникающий в коридор, шевелит страницы, обрамленные черной каймой и покрытые множеством подписей. Мои друзья, мои товарищи по службе и много посторонних вписали туда свои имена согласно обычаю. И на первой странице напечатано мое прежнее имя:

Шарль-Андре Нарси, патентованный капитан Главного Штаба,
скончался 21 декабря 1908 года,
тридцати трех лет.

Я взял похоронный реестр и спрятал его под моими лохмотьями.

Я ухожу.

Этот дом был домом Шарля-Андре Нарси, который умер. Мой дом где-нибудь в другом месте, очевидно.

Я ухожу.

На улице я начинаю торопиться и прихрамываю, потому что устал.

Что это? Улица не совсем пустынна. На тротуаре, напротив, кто-то стоит неподвижно и смотрит на дверь — смотрит, не отрываясь...

Элегантная женщина. На ней костюм светлого сукна. Ее руки скрыты в широкой горностаевой муфте... Глаз ее я не вижу.

Я узнал ее: это она — Мадлена. Я узнал ее сразу. Но ведь я умер, не правда ли? И кроме того, я стар — так стар...

Нет. Я не взволнован. Совсем не взволнован. Я только изумлен.

Все равно, я подойду к ней. Из любопытства. Вот она. Ее глаза не могут оторваться от убранной трауром двери. И я вижу... Что такое? Она плачет, плачет крупными слезами, безмолвными и тяжелыми... Она плачет... Вот как? Этого я не предвидел. Очевидно, слезы женщины... Тем не менее... Что же делать? Я колеблюсь минуту. Я приближаюсь:

— Мад...

Она внезапно вздрагивает, заметив меня. Резким движением вытирает свои щеки муфтой, потом, пошарив в этой муфте, бросает мне несколько су и убегает.

XXXVIII

Я тоже ухожу.

Теперь не может быть никаких сомнений. Я мертв. Более мертв, быть может, чем другой, труп которого я продолжаю видеть в гробу, — труп жестоко разложившийся.

Более мертв, чем он, потому что он не знает, что мертв, тогда как я...

Его не оплакивал никто. Это меня оплакивали. Это для меня были цветы, мундиры и молчание в толпе, для меня были взгляды, прикованные к гробу, на котором мои аксельбанты, мои ордена и мое оружие. Это для меня столько незнакомых людей месят теперь грязь на кладбище...

Мне тоже нужно быть там — с ними...

Красное небо стало фиолетовым, цвета траура. Платаны бульвара, лишённые листвы, простирают к этой пламенеющей ткани черное кружево своих нагих ветвей. В зените — бездонная прозрачная глубина цвета изумруда...

Быть может, есть все же что-нибудь там, за гранями смерти?

Но я не верю в это. Нет! Невозможно. Я вижу слишком ясно этот труп в гробу...

Много народа собралось вокруг моей могилы. Много, почти столько же, как перед моим домом сейчас. Кладбище так близко от города...

Когда я пришел, все было кончено. Я слышу глухой стук земли, падающей на гроб, уже наполовину засыпанный. Я шел слишком медленно. Это потому, что так устал... И эта земля, которую бросают в яму, — я чувствую, как она наваливается всей тяжестью на мою грудь... Шесть футов земли! Я не думал, чтобы это было так, так тяжело...

Все кончено. Все уходят. Могила засыпана. Я не уйду. Зачем? Отныне мой дом здесь...

XXXIX

Теперь все написано.

Я положил мой карандаш на каменный стол — на мою надгробную плиту, где я читаю выгравированные буквы

моей эпитафии. Я положил мой карандаш, исписанный почти до конца, и закрыл реестр с черной каймой, все страницы которого до последней покрыты моими тесными каракулями.

Все написано. Нужно было написать все, чтобы мужчины и женщины, которые не знают и которым угрожает опасность, знали и могли защитить себя. Нужно было написать, потому что язык мой связан, парализован, превращен в камень во рту у меня...

Вы, которые прочли, вы теперь знаете. Ради вашего Бога, не сомневайтесь! Поймите! Поверьте...

Солнце уже низко. Наступает вечер, мой последний вечер. Да, сейчас я умру. Моя жизнь исчерпана до конца. Лампа гаснет, потому что в ней нет больше масла.

Я разбираю мою эпитафию, выгравированную на этом длинном полированном камне, который служил мне столом и на который я еще опираюсь:

«Здесь покоится Шарль-Андре Нарси,
родился 27 апреля 1876 года,
умер 21 декабря 1908 года».

21 декабря 1908 — или 22 января 1909...

Сегодня 22 января 1909 года. Ибо ровно месяц — нет, даже не месяц, месяц без одного дня, — как я нахожусь здесь, на этой могиле, и ожидаю смерти — моей второй смерти.

Месяц. Я смотрю на камень, смотрю этими глазами, которые неумолимо продолжают видеть. Я смотрю... В неподвижном гробу остался уже только скелет. Скелет голый. На костях, уже запыленных, сохранилось еще письмо полковника-директора артиллерии, письмо, которое еще можно прочесть и которое по ошибке похоронили вместе со мною.

Да, скелет, уже покрытый пылью. Больше ничего. Как мог бы я продолжать жить дальше, — я, который в конце концов ничто более, как этот скелет там и эта развалина

здесь, рухнувшая на эту могилу? Невозможно! К счастью, невозможно...

А завтра меня похоронят еще раз, в другой могиле. И я должен буду нести на себе еще другую грудку земли и другой камень. Ни один человек никогда не выносил столько...

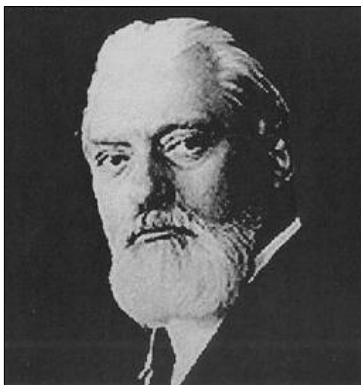
Солнце уже совсем низко. На западе небо остается красным, красным как в день моих похорон.

Чудесное зрелище. На небе нет ни единого облачка. Зимний ветер стих. Огромные кипарисы не шелхнутся. И заходящее солнце начинает обгащать кровью их черные вершины. Великий покой разлит в этом блеске по всему небу и всей земле. И вот он нисходит и на меня тоже.

Простите...

Франция, 1323-1328 годы Эгирь.

Об авторе



Клод Фаррер (наст. имя Фредерик Шарль Эдуар Баргон), сын полковника колониальной пехоты, родился в Лионе в 1876 г. Учился в лицеях Марселя и Тулона. В 1894 г. поступил в Военно-морскую академию в Бресте. В 1897-99 гг. служил на Дальнем Востоке, побывал в Сайгоне, Ханое и Хайфоне. В 1899 г. Фаррер стал лейтенантом флота, в 1906 году — капитан-лейтенантом, а 1918 году — капитаном третьего ранга.

Первая книга Фаррера, «Циклон», вышла в 1902 г. В 1904 г. увидел свет получивший широкую известность сборник новелл «Дым опиума», а уже в 1905 г. молодой писатель был награжден Гонкуровской премией за роман «Цивилизованные» (в русском пер. «Цвет цивилизации», 1909).

Во время Первой мировой войны Фаррер был ранен во время артиллерийского обстрела. В 1919 г. он женился на Анриетте Рожер и вышел в отставку, чтобы полностью посвятить себя литературе.

Фаррер дружил с Пьером Луи и Виктором Сегаленом и высоко ценил Пьера Лоти, с которым его часто сравнивали. Крайне интересовался Турцией (где с 1902 г. побывал 11 раз) и поддерживал кемалистское движение во время Турецкой войны за независимость, но в начале 1920-х годов разочаровался в нем из-за авторитарной и шовинистической политики Мустафы Кемала Ататюрка.

В период между двумя мировыми войнами Фаррер возглавлял Союз писателей-участников Первой мировой войны, сотрудничал с редакцией газеты «Факел» — органом националистической и консервативной организации «Огненные кресты». Тем не менее, в 1933 г. он вступил во Французский комитет защиты преследуемой еврейской интеллигенции, призывал французское правительство гостеприимно принимать евреев — беженцев из Германии во имя гуманизма и в качестве ответа на шаг Германии, давшей приют французским гугенотам после отмены Нантского эдикта.

6 мая 1932 г. на открытии книжного базара в Париже, во время убийства президента Франции Поля Думера фашиствующим русским эмигрантом Павлом Горгуловым, Фаррер находился рядом с президентом, бросился на Горгулова, пытаясь спасти Думера, и был ранен в руку.

В 1934 г. Фаррер опубликовал «Историю Военно-морского флота Франции», в которой утверждал, что о военно-морском флоте страны обычно заботилась образованная элита, которую редко поддерживало общественное мнение, и приписывал многие исторические поражения Франции отсутствию сильного флота.

В марте 1935 г., после двух неудачных попыток, Фаррер был наконец избран членом Французской академии; с преимуществом в пять голосов он победил соперника — Поля Клоделя и стал, после Лоти, вторым моряком за всю историю Академии.

В 1938 г. как «независимый автор» Фаррер посетил Японию по приглашению правительства страны; побывал в Китае, Корее и Маньчжурском государстве и был награжден японским орденом Священного Сокровища второй степени.

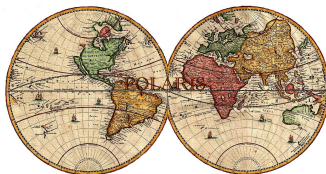
Клод Фаррер скончался в Париже в 1957 г. В 1959 г. Союз писателей-комбатантов учредил литературную премию его имени, присуждаемую за «роман с воображением» писателям, которые «до сих пор не получили ни одной большой литературной премии». Фаррера чаще всего вспоминают как автора «колониальной» или «колониально-эротической» прозы. Однако среди его 70 с лишним книг есть и путевые заметки, и эссе на международную тематику, и приключенческие, и любовные, и детективные романы (в историю жанра Фаррер вошел благодаря вышедшему в 1906 году роману «Человек-убийца», где убийцей оказывается сам главный-герой-рассказчик). Писал он и фантастику, в том числе рассказы и роман «Осужденные на смерть» (1920), получивший известность в английском переводе как «Ненужные руки»;

в этой антиутопии капиталисты, используя новейшее оружие, убивают бастующих рабочих и заменяют их машинами. К фантастическим произведениям Фаррера принадлежит и публикуемый роман «Дом Людей Живых» («La Maison des hommes vivants»), впервые изданный в 1911 г.



Текст книги печатается по изданию: Фаррер К. Дом Людей Живых. М., «Современные проблемы», 1927. Исправлены некоторые устаревшие особенности орфографии и пунктуации. На фронтисписе – иллюстрация Стивена Лоуренса к английскому переводу романа («The House of the Secret», *Famous Fantastic Mysteries*, 1946, февраль).

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.